

Чингиз
Айтматов



Плаха

И долгие века
длится день...

Чингиз Айтматов

**Плаха. И дольше века
длится день (сборник)**

«АСТ»

1986, 1980, 1990

УДК 821.512.154
ББК 84(5Кир)

Айтматов Ч. Т.

Плаха. И дольше века длится день (сборник) / Ч. Т. Айтматов —
«АСТ», 1986, 1980, 1990

ISBN 978-5-17-068641-4

В книгу вошли два ключевых произведения Чингиза Айтматова в наиболее яркой степени воплощающих в себе совершенство и своеобразие его удивительного литературного стиля. «И дольше века длится день...» – роман, простая и незамысловатая сюжетная канва которого служит основой для удивительного переплетения современных, исторических и мифологических уровней повествования. «Плаха» – одна из самых культовых книг 80-х годов прошлого века, рассказывающая о мученическом пути юноши Авдия и синеглазой волчицы Акбары.

УДК 821.512.154

ББК 84(5Кир)

ISBN 978-5-17-068641-4

© Айтматов Ч. Т., 1986, 1980, 1990

© АСТ, 1986, 1980, 1990

Содержание

И дольше века длится день...	6
Вся правда, девять лет спустя...	7
От автора	9
И дольше века длится день	11
Конец ознакомительного фрагмента.	103

Чингиз Айтматов
Плаха. И дольше века
длится день... (сборник)

© Айтматов Ч.Т., наследники, 2010

© ООО «Издательство Астрель», 2010

* * *

И дольше века длится день...

В 1980 г. публикация романа «И дольше века длится день...» (тогда он вышел под названием «Буранный полустанок») произвела фурор среди читательской публики, а за Чингизом Айтматовым окончательно закрепилось звание «властителя дум». Автор знаменитых произведений, переведенных на десятки языков мира, повестей-притч «Белый пароход», «Прощай, Гульсары!», «Пегий пес, бегущий краем моря», он создал тогда новое произведение, которое сегодня, спустя десятилетия, звучит трагически актуально и которое стало мостом к следующим притчам Ч. Айтматова – романам «Плаха» и «Тавро Кассандры».

Вся правда, девять лет спустя...

В принципе, я не любитель разного рода приложений к литературному тексту типа предисловий, послесловий и т. п. Художественное произведение должно быть абсолютно законченным объектом и по форме, и по сути, как живопись или как музыка, т. е. само за себя говорящим, воспринимаемым без подсобных комментариев. Однако в практике бывают случаи, когда поневоле приходится прибегать к предварительному слову, чтобы внести ясность в некоторые вопросы.

Именно такого рода случаи, касающиеся судеб моих книг, дважды имели место в моей творческой жизни, когда я по своей воле счел нужным обратиться к жанру предисловия. Читатель, надеюсь, поймет, чем это было вызвано. Надеюсь также, что предисловие, сохраняемое к первоначальному изданию «И дольше века длится день...», объяснит читателю во многом вынужденность тогдашнего предварения.

Здесь же я хотел бы остановиться главным образом на истории романа «И дольше века длится день...», увидевшего свет девять лет тому назад на страницах журнала «Новый мир». Начну с того, что осложнения романа на пути в свет начались с первых шагов. Первозданное, родное, если можно так выразиться, название книги было «Обруч». Имелся в виду «обруч» манкуртовский, трансформированный в обруч космический, «накладывавшийся на голову человечества» сверхдержавами в процессе соперничества за мировое господство... Однако цензура быстро раскусила смысл такого названия книги, потребовала найти другое наименование, и тогда я остановился на строке из Шекспира в переводе Пастернака: «И дольше века длится день». Исходил при этом из того, что лучше поступиться названием, чем содержанием. Но в «Роман-газете» и в издательстве «Молодая гвардия» и такое название не нашло согласия. Потребовали более упрощенное, «соцреалистическое» название – и тогда явился на свет «Буранный полустанок», в «роман-газетном» варианте с литературными купюрами мест, показавшихся идеологически сомнительными. Шел я на это скрепя сердце, выбирая наименьшее из зол. Главным было опубликовать книгу. Не поставить ее под удар фанатичной вульгаризированной критики. Теперь эти дела в прошлом, но тогда идеология являла собой доминирующую силу.

Но вот прошли годы. Из демагогии, политического фарса свобода превратилась в действительность. Тем временем роман «И дольше века длится день...» множество раз издавался и переиздавался и в стране, и особенно за рубежом. И никто из читателей, столь горячо принявших роман, не подозревал, как сокрушался я в душе всякий раз на больших публичных встречах, ибо в романе было описано далеко не все, что я намерен был сказать. Не без оснований я избегал включать в повествование те события, которые явно не могли быть проходящими по цензурным соображениям.

Эта внутренняя авторская неудовлетворенность, недосказанность, копившаяся многие годы, обида на обстоятельства и на самого себя, однако же нашли наконец свое разрешение – я решился на трудное дело – дописать к уже сложившемуся в читательском мире произведению новые главы, выношенные и выстраданные за многие годы. Эдакое случается редко, если вообще имеет прецедент...

Но такова оказалась судьба этой книги. Новые главы – интегрированная повесть к роману – «Белое облако Чингисхана». Хотелось бы, чтобы читатели сами рассудили, стоило ли автору так долго мучиться, так долго держать в тени от недремлющего идеологического ока задуманные главы.

Как бы то ни было, книга теперь в полном составе. Какое-то время в новых переизданиях интегрированная повесть будет соседствовать с прежним названием романа «И дольше века

длится день...» и в скобках («Белое облако Чингисхана»). Этот сопроводительный подзаголовок, думаю, со временем исчерпает свое назначение.

А пока до новых встреч, дорогие читатели. Не взыщите...

Чингиз Айтматов

Москва, сентябрь 1990 г.

От автора

Общеизвестно: трудолюбие – одно из непренных мерил достоинства человека.

В этом смысле Едигей Жангельдин, Буранный Едигей, так еще называют его знающие люди, поистине настоящий труженик. Он один из тех, на которых, как говорится, земля держится. Он связан со своей эпохой, насколько я могу полагать, накрепчайшим образом, и в том его сущность – он сын своего времени.

Именно поэтому для меня было важно, обращаясь к проблемам, затронутым в романе, увидеть мир через его судьбу – фронтовика, железнодорожного рабочего. И я попытался это сделать в доступной мне мере. Образ Буранного Едигея – это мое отношение к коренному принципу социалистического реализма, главным объектом исследования которого был и остается человек труда.

Однако я далек от абсолютизации самого понятия «труженик» лишь потому, что он «простой, натуральный человек», усердно пашет землю или пасет скот. В столкновении вечного и текущего в жизни человек-труженик интересен и важен настолько, насколько он личность, насколько богат его духовный мир, насколько сконцентрировано в нем его время. Вот я и пытался поставить Буранного Едигея в центр современного мне миропорядка, в центр волнующих меня проблем.

Буранный Едигей не только труженик от природы и по роду занятий. Он человек трудолюбивой души. Человек трудолюбивой души будет задавать себе вопросы, на которые у других всегда есть готовый ответ, поэтому они лениво делают какое-то дело, даже когда делают его хорошо, и живут, только потребляя.

Людей же трудолюбивой души будто соединяет некое братство – они всегда способны отличить один другого и понять, а если не понять, то задуматься. Наше время дает им столько пищи для размышлений, как никакое не давало никогда. Цепочка человеческой памяти уже тянется с Земли в космос.

Должно быть, самое трагическое противоречие конца XX века заключается в беспредельности человеческого гения и невозможности реализовать его из-за политических, идеологических, расовых барьеров, порожденных империализмом.

В условиях сегодняшнего дня, когда не просто появляются технические возможности для стабильного выхода в космос, но когда экономические и экологические нужды человечества властно требуют осуществления этой возможности, разжигание розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самое чудовищное из преступлений против человека.

Только разрядка международной напряженности может считаться прогрессивной политикой сегодня. Более ответственной задачи на свете нет.

Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет. Атмосфера недоверия, напряженности, конфронтации есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой жизни человечества.

Люди могут быть терпимы друг к другу, но они не могут мыслить одинаково, оставаясь при этом людьми, сохраняя свои человеческие качества. Желание лишить человека его индивидуальности издревле и до наших дней сопровождало цели имперских, империалистических, гегемонистских притязаний.

Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем.

Как и в прежних своих произведениях, и в этот раз я опираюсь на легенды и мифы, на предания как на опыт, предназначенный нам в наследство предыдущими поколениями. И вме-

сте с тем впервые в своей писательской практике прибегаю к использованию фантастического сюжета. И то и другое для меня не самоцель, а лишь метод мышления, один из способов познания и интерпретации действительности.

Разумеется, события, связанные с описаниями контактов с внеземной цивилизацией, и все то, что происходит по этой причине, не имеют под собой решительно никакой реальной почвы. Нигде на свете не существуют в действительности сарозекские и невадские космодромы. Два различных мира – две различные системы – взяты здесь мною вне исторической реальности, совершенно условно, как правило игры. Вся «космологическая» история вымышлена мной с одной лишь целью – заострить в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на Земле.

Страшный парадокс этого мира: в Древней Греции прекращались войны на время Олимпийских игр, а сегодня Олимпиада стала для некоторых стран поводом для «холодной войны».

Что касается значения фантастического вымысла, то еще Достоевский писал: «Фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкоснуться с реальным, что вы должны почти поверить ему». Достоевский точно сформулировал закон фантастического. Действительно, мифология ли древних, фантастический ли реализм Гоголя, Булгакова или Маркеса, научная ли фантастика – при всей их разности все они убедительны именно в силу своего соприкосновения с реальным. Фантастическое укрупняет какие-то из сторон реального и, задав «правила игры», показывает их философски обобщенно, до предела стараясь раскрыть потенциал развития выбранных его черт.

Фантастическое – это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век не только из-за вторжения научно-технических свершений в область вчерашней фантастики, но скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем, раздираемый противоречиями – экономическими, политическими, идеологическими, расовыми.

Вот я и хочу, чтобы сарозекские метафоры моего романа напомнили еще раз трудящемуся человеку о его ответственности за судьбу нашей Земли...

И книга эта – вместо моего тела,
И слово это – вместо души моей.

*Григор Нарекаци.
Книга скорби (X век)*

И дольше века длится день

I

Требовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим буеракам и облысевшим логам. Выслеживая запутанные до головокружения, суетливые пробежки мелкой землеройной твари, то лихорадочно разгребая сусликовую нору, то выжидая, чтобы притаившийся под обмыском старой промоины крохотный тушканчик выпрыгнул наконец на открытое место, где его можно было бы придавить в два счета, мышкующая голодная лисица медленно и неуклонно приближалась издали к железной дороге, той темнеющей ровнотянутой насыпной гряде в степи, которая ее и манила и отпугивала одновременно, по которой то в одну, то в другую сторону, тяжело содрокая землю окрест, проносились гроыхающие поезда, оставляя по себе с дымом и гарью сильные раздражающие запахи, гонимые по земле ветром.

К вечеру лисица залегла пообочь телеграфной линии на дне овражка, в густом и высоком островке сухостойного конского щавеля, и, свернувшись рыже-палевым комком подле темно-красных, густо обсеменившихся стеблей, терпеливо дожидалась ночи, нервно прядая ушами, постоянно прислушиваясь к тонкому посвисту понизового ветра в жестко шелестящих мертвых травах. Телеграфные столбы тоже нудно гудели. Лиса, однако, их не боялась. Столбы всегда остаются на месте, они не могут преследовать.

Но оглушительные шумы периодически пробегающих поездов всякий раз заставляли ее напряженно вздрагивать и еще крепче вжиматься в себя. От гудящего подо всем своим хрупким тельцем, ребрами она ощущала эту чудовищную силу землепроминающей тяжеловесности и яростности движения составов и все-таки, преодолевая страх и отвращение к чуждым запахам, не уходила из овражка, ждала своего часа, когда с наступлением ночи на путях станет относительно спокойнее.

Она прибежала сюда крайне редко, только в исключительно голодных случаях...

В перерывах между поездами в степи наступала внезапная тишина, как после обвала, и в той абсолютной тишине лисица улавливала в воздухе настораживающий ее какой-то невнятный высотный звук, витавший над сумеречной степью, едва слышный, никому не принадлежащий. То была игра воздушных течений, то было к скорой перемене погоды. Зверек инстинктивно чувствовал это и горько замирал, застывал в неподвижности, ему хотелось взвыть в голос, затявкать от смутного предощущения некоей общей беды. Но голод заглушал даже этот предупреждающий сигнал природы.

Зализывая намаянные в беготне подушечки лап, лиса лишь тихонько поскуливала.

В те дни вечерами уже холодало, дело шло к осени. По ночам же почва быстро выхолаживалась, и к рассвету степь покрывалась белесым, как солончак, налетом недолговечного инея. Скучная, безотрадная пора приближалась для степного зверя. Та редкая дичь, что держалась в этих краях летом, исчезала кто куда – кто в теплые края, кто в норы, кто подался на зиму в пески. Теперь каждая лисица промышляла себе пропитание, рыская в степи в полном одиночестве, точно бы начисто перевелось на свете лисье отродье. Молодняк того года уже подрос и разбежался в разные стороны, а любовная пора еще была впереди, когда лисы начнут сбегаться зимой отовсюду для новых встреч, когда самцы будут сшибаться в драках с такой силой, какой наделена жизнь от Сотворения мира...

С наступлением ночи лисица вышла из овражка. Выждала, вслушиваясь, и потрусилась к железнодорожной насыпи, бесшумно перебегая то на одну, то на другую сторону путей. Здесь она выискивала объедки, выброшенные пассажирами из окон вагонов. Долго ей пришлось бежать вдоль откосов, обнюхивая всяческие предметы, дразнящие и отвратительно пахнущие,

пока не наткнулась на что-то мало-мальски пригодное. Весь путь следования поездов был засорен обрывками бумаги и скомканных газет, битыми бутылками, окурками, искореженными консервными банками и прочим бесполезным мусором. Особенно зловонным был дух из горлышек уцелевших бутылок – разило дурманом. После того как два раза закружилась голова, лисица уже избегала вдыхать в себя спиртной воздух. Фыркала, отскакивала сразу в сторону.

А того, что ей требовалось, ради чего она так долго готовилась, перебарывая собственный страх, как назло, не встречалось. И в надежде, что еще удастся чем-то подкормиться, лисица неумолимо бежала по железной дороге, то и дело шмыгая с одной стороны насыпи на другую.

Но вдруг она замерла на бегу, приподняв переднюю лапу, точно бы застигнутая чем-то врасплох. Растворяясь в чалом свете высокой мгlistой луны, она стояла между рельсами как призрак, не шелохнувшись. Настораживающий ее далекий гул не исчез. Пока он был слишком далек. Все так же держа хвост на отлете, лисица нерешительно ступила с ноги на ногу, собираясь убраться с путей. Но вместо этого вдруг заторопилась, принялась шнырять по откосам, все еще надеясь наткнуться на нечто такое, чем можно было бы поживиться. Чуяла – вот-вот налетит на находку, хотя неотвратно надвигались лягз и перестук сотен колес. Лисица замешкалась всего на какую-то долю минуты, и этого оказалось достаточно, чтобы она заметалась, закувыркалась, как ошалевший мотылек, когда вдруг с поворота полоснули ближние и дальние огни спаренных цугом локомотивов, когда мощные прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежащую местность, на мгновение выбелили степь, безжалостно обнажая ее мертвенную сушь. А поезд сокрушительно катил по рельсам. В воздухе запахло едкой гарью и пылью, ударил ветер.

Лисица опрометью кинулась прочь, то и дело оглядываясь, припадая в страхе к земле. А чудовище с бегущими огнями долго еще грохотало и проносилось, долго еще стучало колесами. Лисица вскакивала и снова бросалась бежать со всех ног...

Потом она отдышалась, и ее опять потянуло туда, к железной дороге, где можно было бы утолить голод. Но впереди на линии снова завиднелись огни, снова пара локомотивов тащила длинный груженный состав.

Тогда лисица побежала в обход по степи, решив, что выйдет к железной дороге в таком месте, где не ходят поезда...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства – Сары-Озекы, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

В полночь кто-то долго и упорно добирался к нему в будку стрелочника, вначале прямо по шпалам, потом, с появлением встречного поезда впереди, скатившись вниз с откоса, пробиваясь, как в пургу, заслоняясь руками от ветра и пыли, выносимых шквалом из-под скоростного товарняка (то следовал «зеленой улицей» литерный состав – поезд особого назначения, который уходил затем на отдельную ветку в закрытую зону Сары-Озек-1, там у них своя, отдельная путевая служба, уходил на космодром, короче говоря, потому поезд шел весь укрытый брезентами и с воинской охраной на платформах). Едигей сразу догадался, что это жена спешила к нему, что неспроста спешит и что есть на то какая-то очень серьезная причина. Так оно потом и оказалось. Но по долгу службы он не имел права отлучиться с места, пока не прокатился мимо последний хвостовой вагон с кондуктором на открытой площадке. Они посигналили друг другу фонарями в знак того, что все в порядке на пути, и только тогда полуоглохший от сплошного шума Едигей обернулся к подоспевшей жене:

– Ты чего?

Она тревожно глянула на него и шевельнула губами. Едигей не расслышал, но понял – он так и думал.

– Пошли сюда от ветра. – Он повел ее в будку.

Но прежде чем услышать из ее уст то, что он уже сам предполагал, в ту минуту почему-то поразило его совсем другое. Хотя и прежде он примечал, что дело шло к старости, но в этот раз оттого, как задыхалась она после быстрой ходьбы, как надсадно хрипело и сипело в ее груди и как при этом неестественно высоко вздымались обхудевшие плечи, ему стало обидно за нее. Сильный электрический свет в железнодорожной будке вдруг резко обнаружил глубокие и никогда не исчезавшие уже морщины на синюшно потемневших щеках Укубалы (а была ведь литой смуглянкой ровного пшеничного оттенка, и глаза всегда сияли черным блеском), и еще эта щербатость рта, лишняя раз убеждающая, что даже отжившей свой бабий век женщине никак не следует быть беззубой (давно надо было свозить ее на станцию вставить эти самые металлические зубы, теперь все, и стар и млад, ходят с такими), и ко всему тому седые, уже белым-белые пряди волос, разметавшиеся по лицу из-под опавшего платка, больно резанули сердце. «Эх, как постарела ты у меня», – пожалел он ее в душе с щемящим чувством вины. И оттого еще больше проникся молчаливой благодарностью, явившейся за все сразу, за все то, что было пережито вместе за многие годы, и особенно за то, что прибежала сейчас по путям среди ночи, в самую дальнюю точку разъезда из уважения и из долга, потому что знала, как это важно для Едигея, прибежала сказать о смерти несчастного старика Казангапа, одинокого старца, умершего в пустой глинобитной мазанке, потому что понимала – только Едигей один на свете близко к сердцу примет кончину всеми покинутого человека, хотя покойник и не доводился мужу ни братом, ни сватом.

– Садись, отдышись, – сказал Едигей, когда они вошли в будку.

– И ты садись, – сказала она мужу.

Они сели.

– Что случилось?

– Казангап умер.

– Когда?

– Да вот только что заглянула – как он там, думаю, может, чего требуется. Вхожу, свет горит, и он на своем месте, и только борода торчком как-то задралась кверху. Подхожу. Казаке, говорю, Казаке, может, вам чаю горячего, а он уже. – Голос ее пресекся, слезы навернулись на покрасневших и истончившихся веках, и, всхлипнув, Укубала тихо заплакала. – Вот как оно обернулось под конец. Какой человек был! А умер – некому оказалось глаза закрыть, – сокрушалась она, плача. – Кто бы мог подумать! Так и помер человек... – Она собиралась сказать – как собака на дороге, но промолчала, не стоило уточнять, и без того было ясно.

Слушая жену, Буранный Едигей, так прозывался он в округе, прослужив на разъезде Боранлы-Буранный от тех дней еще, как вернулся с войны, сумрачно сидел на приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени. Козырек железнодорожной фуражки, изрядно замасленной и потрепанной, затенял его глаза. О чем он думал?

– Что будем делать теперь? – промолвила жена.

Едигей поднял голову, глянул на нее с горькой усмешкой.

– Что будем делать? А что делают в таких случаях! Хоронить будем. – Он привстал с места, как человек, уже принявший решение. – Ты вот что, жена, возвращайся побыстрее. А сейчас слушай меня.

– Слушаю.

– Разбуди Оспана. Не смотри, что начальник разъезда, неважно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. Сорок четыре года проработал человек на одном месте. Оспан, может, тогда еще и не родился, когда Казангап начинал здесь и никакую собаку ни за какие

деньги не затянуть было тогда сюда, на сарозеки. Сколько поездов прошло тут на веку его – волос не хватит на голове... Пусть он подумает... Так и скажи. И еще слушай...

– Слушаю.

– Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас тут народу – восемь домов, по пальцам перечесть... Всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Всех подними на ноги.

– А если ругаться начнут?

– Наше дело известить каждого, а там пусть ругаются. Скажи, что я велел будить. Надо совесть иметь. Постой!

– Что еще?

– Забеги вначале к дежурному, сегодня Шаймерден сидит диспетчером, передай ему, что и как, и скажи, пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на этот раз. Если что, пусть даст знать. Ты поняла меня, так и скажи!

– Скажу, скажу, – отвечала Укубала, а потом спохватилась, как бы вспомнив вдруг о самом главном, непростительно забытом ею. – А дети-то его! Вот те на! Надо же им первым долгом весть послать, а то как же? Отец умер...

Едигей нахмурился отчужденно при этих словах, еще больше посуровел. Не отозвался.

– Какие ни есть, но дети есть дети, – продолжала Укубала оправдывающим тоном, зная, что Едигею это неприятно слушать.

– Да знаю, – махнул он рукой. – Что ж я, совсем не соображаю? Вот то-то и оно, как можно без них, хотя, будь моя воля, я бы их близко не допустил!

– Едигей, то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров будет потом, век не оберешься...

– А я что, мешаю? Пусть едут.

– А как сын не поспеет из города?

– Поспеет, если захочет. Позавчера еще, когда был на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец твой при смерти. Чего еще больше! Он себя умным считает, должен понять, что к чему...

– Ну, если так, то еще ладно, – неопределенно примирилась жена с доводами Едигея и, все еще думая о чем-то своем, тревожащем ее, проговорила: – Хорошо бы с женой заявился, все-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь...

– Это уж сами пусть решают. Как тут подсказывать, не малые же дети.

– Да, так-то оно, конечно, – все еще сомневаясь, соглашалась Укубала.

И они замолчали.

– Ну, ты не задерживайся, иди, – напомнил Едигей.

У жены, однако, было еще что сказать:

– А дочь-то его – Айзада горемычная – на станции с мужем своим, забулдыгой беспробудным, да с детьми, ей ведь тоже надо успеть на похороны.

Едигей невольно улыбнулся, похлопал жену по плечу.

– Ну вот, ты теперь начнешь переживать за каждого... До Айзады тут рукой подать, с утра подскочит кто-нибудь на станцию, скажет. Прибудет, конечно. Ты, жена, пойми одно – и от Айзады, и от Сабитжана тем более, пусть он и сын, мужчина, толку будет мало. Вот посмотришь, приедут, никуда не денутся, но будут стоять как гости сторонние, а хоронить будем мы, так уж получается... Иди и делай, как я сказал.

Жена пошла, потом остановилась нерешительно и снова пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей:

– Не забудь перво-наперво к дежурному, к Шаймердену, пусть кого-то пошлет вместо меня, я потом отработаю. Покойник лежит в пустом доме, и рядом никого, как можно... Так и скажи...

И жена пошла, кивнув. Тем временем на дистанционном щите загудел, заморгал красным светом сигнализатор – к разъезду Боранлы-Буранный приближался новый состав. По команде дежурного предстояло принять его на запасную линию, чтобы пропустить встречный, тоже находящийся у входа в разъезд, только у стрелки с противоположного конца. Обычный маневр. Пока поезда продвигались по своим колеям, Едигей оглядывался урывками на уходящую крайнюю линию Укубалу, точно бы он забыл что-то еще сказать ей. Сказать, конечно, было что, мало ли дел перед похоронами, всего сразу не упомнишь, но оглядывался он не поэтому, просто именно сейчас он обратил внимание с огорчением, как состарилась, ссутулилась жена в последнее время, и это очень заметно было в желтой дымке тусклого путевого освещения.

«Стало быть, старость уже на плечах сидит, – подумалось ему. – Вот и дожили – старик и старуха!» И хотя здоровьем Бог его не обидел, крепок был еще, но счет годам набегал немалый – шестьдесят, да еще с годком, шестьдесят один было уже. «Глядишь, года через два и на пенсию могут попросить», – сказал Едигей себе не без насмешки. Но он знал, что не так скоро уйдет на пенсию и не так просто найти человека в этих краях на его место – обходчика путей и ремонтного рабочего, стрелочником он бывал от случая к случаю, когда кто-то заболел или уходил в отпуск. Разве что кто позарится на дополнительную оплату за отдаленность и безводность? Но вряд ли. Поди таких сыщи среди нынешней молодежи.

Чтобы жить на сарозекских разъездах, надо твердый дух иметь, а иначе сгинешь. Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай ее такую, какая она есть, а человеку не все равно, что и как на свете, и терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы... И оттого утрачивает он себя перед лицом великой неумолимой степи, разряжается духом, как тот аккумулятор с трехколесного мотоцикла Шаймердена. Хозяин все бережет его, сам не ездит и другим не дает. Вот и стоит машина без дела, а как надо – не заводится, иссякла заводная сила. Так и человек на сарозекских разъездах: не пристанет к делу, не укоренится в степи, не приживется – трудно устоять будет. Иные, глядя из вагонов мимоходом, за голову хватаются – господа, как тут люди могут жить?! Кругом только степь да верблюды! А вот так и живут, у кого на сколько терпения хватает. Три года, от силы четыре продержится – и делу тамам¹: рассчитывается и уезжает куда подальше...

На Боранлы-Буранном только двое укоренились тут на всю жизнь – Казангап и он, Буранный Едигей. А сколько перебивало других между тем! О себе трудно судить, жил не сдавался, а Казангап отработал здесь сорок четыре года не потому, что дурнее других был. На десяток иных не променял бы Едигей одного Казангапа... Нет теперь его, нет Казангапа...

Поезда разминулись, один ушел на восток, другой на запад. Опустели на какое-то время разъездные пути Боранлы-Буранного. И сразу все обнажилось вокруг – звезды с темного неба засветились вроде сильнее, отчетливее, и ветер резвее загулял по откосам, по шпалам, по гравийному настилу между слабо позванивающими, пощелкивающими рельсами.

Едигей не уходил в будку. Задумался, прислонился к столбу. Далеко впереди, за железной дорогой, различил смутные силуэты пасущихся в поле верблюдов. Они стояли под луной, застыв в неподвижности, пережидали ночь. И среди них различил Едигей своего двугорбого, крупноголового нара – самого сильного, пожалуй, в сарозеках и быстроходного, прозывающегося, как и хозяин, Буранным Каранаром. Едигей гордился им, редкой силы животное, хотя и нелегко управляться с ним, потому что Каранар оставался атаном – в молодости Едигей его не кастрировал, а потом не стал трогать.

Среди прочих дел на завтра припомнил для себя Едигей, что надо с утра пораньше пригнать Каранара домой, поставить под седловище. Пригодится для поездок на похоронах. И еще приходили в голову разные заботы...

¹ Тамам – конец.

А на разъезде люди пока еще спокойно спали. С примостившимися с одного края путей небольшими станционными службами, с домами под одинаковыми двускатными шиферными крышами, их было шесть, сборно-щитовых построек, поставленных железнодорожным ведомством, да еще дом Едигея, построенный им самим, и мазанка покойного Казангапа, да разные надворные печурки, пристройки, камышитовые загороди для скота и прочей надобности, в центре ветровая и она же универсальная электронасосная и при случае ручная водокачка, появившаяся здесь в последние годы, – вот и весь поселочек Боранлы-Буранный.

Весь как есть при великой железной дороге, при великой Сары-Озекской степи, маленькое связующее звено в разветвленной, как кровеносные сосуды, системе других разъездов, станций, узлов, городов... Весь как есть, как на духу, открытый всем ветрам на свете, особенно зимним, когда метут сарозекские выюги, заваливая дома по окна сугробами, а железную дорогу холмами плотного мерзлого свея... Потому и назывался этот степной разъезд Боранлы-Буранный, и надпись висит двойная: Боранлы – по-казахски, Буранный – по-русски...

Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители – и пуляющие снег струями, и сдвигающие его по сторонам килевыми ножами, и прочие, – пришлось им с Казангапом побороться с заносами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. А вроде бы совсем недавно это было. В пятьдесят первом, пятьдесят втором годах – какие лютые зимы стояли. Разве только на фронте приходилось так, когда жизнь употреблялась на одноразовое дело – на одну атаку, на один бросок гранаты под танк... Так и здесь бывало. Пусть никто тебя не убивал. Но зато сам убивался. Сколько заносов перекидали вручную, выволокли волокушами и даже мешками выносили снег наверх, это на седьмом километре, там дорога проходит низом сквозь прорезанный бугор, и каждый раз казалось, что это последняя схватка с метельной круговертью и что ради этого можно не задумываясь отдать чертям эту жизнь, только бы не слышать, как режут в степи паровозы – им дорогу давай!

Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы ушли... Никому и дела нет теперь до того. Было – не было. Теперешние путейцы прибывают сюда наездами, шумливые типы – контрольно-ремонтные бригады, так они не то что не верят, не понимают, в голову не могут себе взять, как это могло быть: сарозекские заносы – и на перегоне несколько человек с лопатами! Чудеса! А среди них иные в открытую смеются: а зачем это надо было – такие муки брать на себя, зачем было гробить себя, с какой стати! Нам бы такое – ни за что! Да пошли вы к такой-то бабушке, поднялись бы – и на другое место, на худой конец, на стройку-матку двинулись бы или еще куда, где все как положено. Столько-то отработали – столько-то плати. А если аврал – собирай народ, гони сверхурочные... «На дурняка выезжали на вас, старики, дураками и помрете!...»

Когда встречались такие «переоценщики», Казангап не обращал на них внимания, точно бы это его не касалось, усмехался только, будто бы он знал про себя нечто большее, им недоступное, а Едигей – тот не выдерживал, взрывался, бывало, спорил, только кровь себе портил.

А ведь между собой у них с Казангапом случались разговоры и о том, над чем посмеивались теперь приезжие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах, и о многом другом еще и в прежние годы, когда эти умники наверняка еще без штанов бегали, а они тогда еще обмозговывали житье-бытье, насколько хватало разума, и потом постоянно, срок-то был великий от тех дней – с сорок пятого года, и особенно после того, как вышел Казангап на пенсию, да как-то неудачно получилось: уехал в город к сыну на житье и вернулся месяца через три. О многом тогда потолковали, как и что оно на свете. Мудрый был мужик Казангап. Есть о чем вспомнить... И вдруг понял Едигей с совершенной ясностью и острым приступом нахлынувшей горечи, что отныне остается только вспоминать...

Едигей поспешил в будку, услышав, как шелкнул, включился микрофон переговорника. Зашуршало, зашипело, как в пургу, в этом дурацком устройстве, прежде чем голос раздался.

– Едике, алло, Едике, – просипел Шаймерден, дежурный по разъезду, – ты слышишь меня? Отзовись!

– Я слушаю! Слышу!

– Ты слышишь?

– Слышу, слышу!

– Как слышишь?

– Как с того света!

– Почему как с того света?

– Да так!

– А-а... Стало быть, старик Казангап того самого!

– Чего того самого?

– Ну, умер, значит. – Шаймерден тщился найти подходящие к случаю слова. – Ну как сказать? Стало быть, завершил, того самого, ну, это самое, свой славный путь.

– Да, – коротко ответил Едигей.

«Вот хайван² безмозглый, – подумал он, – о смерти даже не может сказать по-людски».

Шаймерден примолк на минутку. Микрофон еще сильнее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания. Затем Шаймерден прохрипел:

– Едике, дорогой, только ты, того самого, голову мне не морочь. Если умер, то что ж теперь... У меня людей нет. Чего тебе понадобилось сидеть рядом? Покойник, того самого, от этого не подымется, как я думаю...

– А я думаю, понятия у тебя никакого нет! – возмутился Едигей. – Что значит – голову не морочь! Ты здесь второй год, а мы с ним тридцать лет проработали вместе. Ты подумай. Среди нас человек умер, нельзя, не положено оставлять покойника одного в пустом доме.

– А откуда ему знать, того самого, один он или не один?

– Зато мы знаем!

– Ну ладно, не шуми, того самого, не шуми, старик!

– Я тебе объясняю.

– Ну что ты хочешь? У меня людей нет. Что там будешь делать, все равно ночь кругом.

– Буду молиться. Покойника буду обряжать. Молитвы буду приносить.

– Молиться? Ты, Буранный Едигей?

– Да, я. Я знаю молитвы.

– Вот те раз – шестьдесят лет, того самого, советской власти.

– Да ты оставь, при чем тут советская власть! По умершим молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина!

– Ну ладно, молись, того самого, только не шуми. Пошлю за Длинным Эдильбаем, если согласится, то придет, того самого, заступит вместо тебя... А сейчас давай, сто семнадцатый подходит, готовь на вторую запасную...

И на том Шаймерден отключился, щелкнул выключатель переговорника. Едигей поспешил к стрелке и, занимаясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли Эдильбай. И обнадежился, совесть-то есть у людей, когда увидел, как ярко засветились окна в некоторых домах. Собаки залаяли. Значит, жена тревожит, поднимает боранлинцев на ноги.

Тем временем сто семнадцатый встал на запасную линию. С другого конца подошел нефтеналивной состав – одни цистерны. Они разминулись, один – на восток, другой – на запад...

Был уже второй час ночи. Звезды в небе разгорались, каждая звезда выделялась сама по себе. И луна засветила над сарозеками чуть ярче, наполняясь некой добавочной, постепенно приливающей силой. А под звездным небом далеко, беспредельно простерлись сарозеки, только контуры верблюдов – и среди них двугорбый великан Буранный Каранар – да смутные

² Хайван – скотина.

очертания ближайших привалков были различимы, а все остальное по обе стороны железной дороги уходило в ночную бесконечность. Да ветер не спал, все посвистывал, шуршал вокруг сором.

Едигей то входил, то выходил из будки, ждал, не покажется ли на путях Длинный Эдильбай. И тут он увидел в стороне зверька какого-то. То оказалась лисица. Глаза ее отсвечивали зеленоватым мигающим переливком. Она понуро стояла под телеграфным столбом, не собираясь ни приближаться, ни убежать.

– Ты чего тут! – пробормотал Едигей, шутливо пригрозив пальцем. Лиса не испугалась. – Ты смотри! Я тебя! – И притопнул ногой.

Лисица отскочила подальше и села, оборотившись к нему. Пристально и скорбно смотрела она, как казалось ему, не сводя глаз, то ли на него, то ли на что-то другое возле него. Что ее могло привлекать, почему она появилась здесь? То ли огни электрические приманили, то ли с голоду пришла? Станным показалось Едигею ее поведение. А почему бы не пристукнуть каменюкой, раз такое дело, коли добыча сама в руки просится. Едигей нашарил на земле камень покрупней. Примерился и, замахнувшись, опустил руку. Выронил камень под ноги. Даже пот прошиб. Надо же, чего только не приходит человеку в голову! Чушь какая-то! Собираясь прибить лису, вспомнил вдруг, как кто-то рассказывал, то ли кто из тех приезжих типов, то ли фотограф, с которым о Боге беседовал, то ли еще кто-то, да нет же, Сабитжан рассказывал, будь он неладен, вечно у него разные чудеса, лишь бы ему внимали, лишь бы поразить других. Сабитжан, сын Казангапа, рассказывал о посмертном переселении душ.

Вот ведь выучили на свою голову болтуна никчемного. Поглядеть с первого раза – вроде ничего малый. Все-то он знает, все-то он слышал, только толку мало от всего этого. Учили, учили по интернатам, по институтам, а человек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить, тосты говорить мастак, а дела нет. Пустышка, одним словом, оттого и жидковат против Казангапа, хотя и дипломом козыряет. Нет, не удался, не в отца пошел сын. Но бог с ним, что ж делать, какой есть.

Так вот, как-то рассказывал он, что в Индии верят в учение, по которому считается, что если человек умирает, то душа его переселяется в какую-нибудь живую тварь, в любую, пусть даже то муравей. И считается, что человек когда-то, еще до своего рождения, побывал до этого птицей, или зверем каким, или насекомым. Поэтому у них грех убить животное, пусть даже змея, кобра, встретится на пути человеку, не тронет ее, а лишь поклонится и уступит дорогу.

Каких только чудес нет на свете. Насколько все это верно, кто его знает. Мир велик, а человеку не все дано знать. Вот и подумалось, когда хотел пристукнуть камнем лису: а что, если в ней отныне душа Казангапа? Что, если, переселившись в лису, пришел Казангап к своему лучшему другу, потому что в мазанке после его смерти пусто, безлюдно, тоскливо?.. «Из ума выживаю никак! – укорял он себя. – И как может такое придуматься? Тьфу ты! Оглупел вконец!»

И все-таки, подступая осторожно к лисице, он говорил ей, точно она могла понимать его речь:

– Ты иди, не место тебе здесь, иди к себе в степь. Слышишь? Иди, иди. Только не туда – там собаки. Ступай с богом, иди себе в степь.

Лисица повернулась и потрусилась прочь. Раз-два оглянувшись, она исчезла во тьме.

Между тем к разъезду подходил очередной железнодорожный состав. Погромыхивая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающую мглу движения – летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился, из локомотива, сдержанно гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист:

– Эй, Едиге, Буранный, ассалам-алейкум!

– Алейкум-ассалам!

Едигей задрал голову, чтобы получше разглядеть, кто бы это мог быть. На этой трассе они все знали друг друга, свой оказался парень. С ним и передал Едигей, чтобы на Кумбеле, на узловой станции, где жила Айзада, сообщили ей о смерти отца. Машинист охотно согласился выполнить эту просьбу из уважения к памяти Казангапа, тем более на Кумбеле перемена поездных бригад, и обещал даже на обратном пути подвезти Айзаду с семьей, если она к тому времени поспеет.

Человек был надежный. Едигей почувствовал даже облегчение. Значит, одно дело сделано.

Поезд тронулся через несколько минут, и, прощаясь с машинистом, Едигей увидел, что кто-то долговязый шел к нему краем полотна, вдоль набирающего ход состава. Едигей взгляделся, то был Эдильбай.

Пока Едигей сдал смену, пока они с Длинным Эдильбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, на Боранлы-Буранный вкатилась и разминулась еще пара поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, Едигей пошел домой, вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл давеча напомнить жене, вернее посоветоваться, как же быть, дочерям-то своим да зятьям как сообщить о кончине старика Казангапа. Две замужние дочери Едигея жили совсем в другой стороне – под Кзыл-Ордой. Старшая в рисоводческом совхозе, муж ее тракторист. Младшая жила вначале на станции под Казалинском, потом переехала с семьей поближе к сестре, в тот же совхоз, муж ее работал шофером. И хотя Казангап не приходился им родным человеком, на похороны которого полагается непременно прибыть, Едигей считал, что Казангап был для них дороже, чем любой другой родственник. Дочери народились при нем в Боранлы-Буранном. Здесь выросли, учились в школе, в станционном интернате в Кумбеле, куда отвозили их поочередно то сам Едигей, то Казангап. Вспомнил девчушек. Вспомнил, как на каникулы или с каникул возили их верхом на верблюде. Младшая впереди, отец посередине, старшая сзади – и поехали все втроем. Часа три, а зимой так и дольше, рысцой размашистой бежал Каранар от Боранлы-Буранного до Кумбеля. А когда Едигею некогда было, отвозил их Казангап. Он был им как отец. Едигей решил, что утром надо дать им телеграмму, а там как сумеют... Но пусть знают, что нет больше старика Казангапа...

Потом он шел и думал о том, что утром перво-наперво надо пригнать с выпаса своего Каранара, очень он нужен будет. Умереть не просто, а похоронить человека честь по чести в этом мире тоже нелегко... Обнаруживается всегда, что того нет, этого нет, что все нужно добывать в спешном порядке, начиная от савана и кончая дровами для поминок.

Именно в тот момент в воздухе что-то колыхнулось, напомнило, как бывало на фронте, отдаленный удар мощной взрывной волны, и земля содрогнулась под ногами. И он увидел прямо перед собой, как далеко в степи, в той стороне, где располагался, насколько ему было известно, Сарозекский космодром, что-то взлетело в небо сплошь пламенеющим, вырастающим ввысь огненным смерчем. И оторопел – в космос поднималась ракета. Такого он еще никогда не видывал. Он знал, как все сарозекцы, о существовании космодрома Сары-Озек-1, то было отсюда километрах в сорока или чуть поменьше, знал, что туда проброшена отдельная железнодорожная ветка от станции Тогрек-Там, и рассказывали даже, что в той стороне в степи возник большой город с большими магазинами, слышал бесконечно по радио, в разговорах, читал в газетах о космонавтах, о космических полетах. Все это происходило где-то поблизости, во всяком случае, на концерте самодеятельности в областном городе, где жил Сабитжан, а город этот находился куда дальше – около полутора суток езды поездом, – детишки хором пели песенку о том, что они самые счастливые дети на свете, потому что дяди космонавты уходят в космос с их земли; но поскольку все, что окружало космодром, считалось закрытой зоной, то Едигей, живя не так далеко от этих мест, довольствовался тем, что слышал и узнавал стороной. И вот впервые наблюдал воочию, как стремительно вздымалась в бушующем напря-

женном пламени, озаряя округу трепещущими сполохами света, космическая ракета в темную, звездную высь. Едигею стало не по себе – неужто в том огнище сидит человек? Один или двое? И почему, постоянно живя здесь, он никогда раньше не видел момента взлета, ведь сколько раз уже летали в космос, со счета собьешься. Может быть, в те разы корабли улетали днем. При солнечном свете с такого расстояния вряд ли что различишь. А этот-то почему рванулся ночью? Значит, к спеху или так положено? А возможно, он поднимается от земли ночью, а там сразу попадает в день? Сабитжан как-то рассказывал, словно сам там побывал, что в космосе будто бы через каждые полчаса сменяются день и ночь. Надо порасспросить Сабитжана. Сабитжан все знает. Очень уж хочется ему быть всезнающим, важным человеком. Как-никак в областном городе работает. Ну не прикидывался бы. К чему? Кто ты есть, тем и будь. «Я с тем-то был, с большим человеком, я тому-то то-то сказал». А Длинный Эдильбай рассказывал – попал он к нему как-то раз на службу. Только и бегаёт, говорит, наш Сабитжан от телефонов к дверям кабинета в приемной, только успеваёт: «Слушаюсь, Альжапар Кахарманович! Есть, Альжапар Кахарманович! Сию минуту, Альжапар Кахарманович!» А тот, говорит, сидит там в кабинете и все кнопками погоняет. Так и не поговорили между собой толком... Вот такой он, говорит, оказался, наш землячок боранлинский. Да бог с ним, какой уж есть... Жаль только Казангапа. Он ведь очень переживал за сына. До самых последних дней не говорил о нем ничего худого. Переехал даже было в город к сыну да снохе на житье, сами же его упростили, сами же увозили, а что получилось... Ну, это отдельный разговор...

С такими мыслями уходил Едигей той глубокой ночью, проведив космическую ракету до самого полного ее исчезновения. Долго следил он за этим чудом. И когда огненный корабль, все сжимаясь и уменьшаясь, канул в черную бездну, превратившись в белую туманную точку, он покрутил головой и пошел, испытывая странные, противоречивые чувства. Восхищаясь увиденным, он в то же время понимал, что для него это постороннее дело, вызывающее и удивление и страх. Вспомнилась при этом вдруг та лисица, которая прибежала к железной дороге. Каково-то ей стало, когда застиг ее в пустой степи этот смерч в небе. Не знала, наверно, куда себя девать...

Но сам-то он, Буранный Едигей, свидетель ночного взлета ракеты в космос, не подозревал, да и не полагалось ему знать, что то был экстренный, аварийный вылет космического корабля с космонавтом – без всяких торжеств, журналистов и рапортов, в связи с чрезвычайным происшествием на космической станции «Паритет», находившейся уже более полутора лет по совместной советско-американской программе на орбите, условно называемой «Трамплин». Откуда Едигею было знать обо всем этом. Не подозревал он и о том, что это событие коснется и его, его жизни, и не просто по причине нерасторжимой связи человека и человечества в их всеобщем значении, а самым конкретным и прямым образом. Тем более не знал он и не мог предполагать, что некоторое время спустя вслед за кораблем, стартовавшим с Сары-Озека, на другом конце планеты, в Неваде, поднялся с космодрома американский корабль с той же задачей, на ту же станцию «Паритет», на ту же орбиту «Трамплин», только с иным ходом обращения.

Корабли были срочно посланы в космос по команде, поступившей с научно-исследовательского авианосца «Конвенция», являвшегося плавучей базой объединенного советско-американского центра управления программы «Демидурт».

Авианосец «Конвенция» находился в районе своего постоянного местопребывания – в Тихом океане, южнее Алеутских островов, в квадрате примерно на одинаковом расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско. Объединенный центр управления – Обценупр – в это время напряженно следил за выходом обоих кораблей на орбиту «Трамплин». Пока все шло успешно. Предстояли маневры по стыковке с комплексом «Паритет». Задача была наисложнейшая, стыковка должна была происходить не последовательно, одна вслед за другой с необходимым

интервалом очередности, а одновременно, совершенно синхронно с двух разных подходов к станции.

«Паритет» не реагировал на сигналы Обценупра с «Конвенции» уже свыше двенадцати часов, не реагировал он и на сигналы кораблей, идущих к нему на стыковку... Предстояло выяснить, что произошло с экипажем «Паритета».

II

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства – Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

От разъезда Боранлы-Буранный до родового найманского кладбища Ана-Бейит было, по меньшей мере, километров тридцать в сторону от железной дороги, и то при условии, если путь держать напрямик, наугад по сарозекам. Если же не рисковать, чтобы не заплутаться случаем в степи, то лучше ехать обычной колеёй, что все время сопутствует железной дороге, но тогда расстояние до кладбища еще больше увеличится. Придется делать добрый крюк до поворота от Кыйсыксайской пади на Ана-Бейит. Иного выхода нет. Вот и получается в лучшем случае тридцать верст в один конец да столько же в другой. Но, кроме самого Едигея, никто из нынешних боранлинцев толком и не знал, как туда добираться, хотя слышать слышали о том старинном Бейите, о котором рассказывали всякие истории, то ли были, то ли небылицы, но самим пока не доводилось туда наезжать. Нужды такой не возникало. За многие годы это был первый случай в Боранлы-Буранном, придорожном поселочке из восьми домов, когда умер человек и предстояли похороны. До этого несколько лет назад, когда в одночасье скончалась девочка от грудного удушья, родители увезли ее хоронить к себе на родину, в Уральскую область. А жена Казангапа, старушка Букей, покоилась на станционном погосте в Кумбеле – умерла в тамошней больнице несколько лет назад, ну и решили тогда на станции и схоронить. Везти покойницу в Боранлы-Буранный не было смысла. А Кумбель – самая большая станция в Сары-Озеках, к тому же дочь Айзада проживает там да зять, пусть и непутевый, выпивающий, но все же свой человек. За могилкой, мол, присматривать будут. Но тогда жив был Казангап, он сам решал, как ему поступить.

А теперь думали-гадали, как быть.

Едигей, однако, настоял на своем.

– Да бросьте вы неджигитские речи, – урезонил он молодых. – Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите, там, где предки лежат. Там, где завещал сам покойный. Давайте от слов к делу перейдем, готовиться будем. Путь предстоит не близкий. Завтра с утра пораньше двинемся...

Все понимали – Едигей имел право принять решение. На том и согласились. Правда, Сабитжан пробовал было возразить. Подоспел он в тот день попутным товарняком, пассажирские поезда здесь не задерживались. И то, что прибыл на похороны отца, хотя и не знал, жив еще тот или нет, уже одно это растрогало и даже обрадовало Едигея. И были минуты, когда они обнялись и плакали, объединенные общим горем и печалью. Едигей потом удивлялся себе. Прижимая Сабитжана к груди и плача, он не мог совладать с собою, все говорил, всхлипывая: «Хорошо, что ты приехал, родимый, хорошо, что ты приехал!» – точно бы его приезд мог воскресить Казангапа. И чего Едигей так расплакался, сам не мог понять, никогда с ним такого не случалось. Долго они плакали во дворе, у дверей осиротевшей мазанки казангаповской. Что-

то подействовало на Едигея. Вспомнилось, что Сабитжан вырос у него на глазах, мальчонкой был, любимцем отца был, возили его учиться в кумбельскую школу-интернат для детей железнодорожников, как выпадало свободное время, наезжали проведать – то попутным составом, то верхами на верблюдах. Как он там, в общежитии, не обидел ли кто, не натворил ли дел каких недозволенных, да как учится, да что говорят о нем учителя... А на каникулах сколько раз, укутав в шубу, везли верхами по снежным сарозекам, в мороз да вьюгу, чтобы только не опоздал на занятия.

Эх, безвозвратные дни! И все это ушло, уплыло, как сон. И вот теперь стоит взрослый человек, лишь отдаленно напоминающий того, каким он был в детстве – пучеглазый и улыбочивый, а теперь в очках, в расплющенной шляпе, при затрепанном галстуке. Работает теперь в областном городе и очень хочет казаться значительным, большим работником, а жизнь штука коварная, не так-то просто выйти в начальники, как сам он не раз жаловался, если нет поддержки хорошей да знакомства или родства, а кто он – сын какого-то Казангапа с какого-то разъезда Боранлы-Буранного. Вот несчастный-то! Но теперь и такого отца нет, самый никудышный отец, да живой, в тысячу раз лучше прославленного мертвого, но теперь и такого нет...

А потом слезы унялись. Перешли к разговорам, к делу. И тут обнаружилось, что сынок-то милый, всезнающий, не хоронить приехал отца, а лишь бы только отделаться, прикопать как-нибудь и побыстрей уехать. Стал он мысли такие высказывать – к чему, мол, тащиться в эдакую даль на Ана-Бейит, вокруг вон сколько простора – безлюдная степь Сары-Озек от самого порога и до самого края света. Можно же вырыть могилу где-нибудь неподалеку, на пригорочке каком, сбоку железнодорожной линии, пусть лежит себе старый обходчик да слышит, как поезда бегут по перегону, на котором он проработал всю свою жизнь. Припомнил даже к случаю поговорку давнишнюю: избавление от мертвого в захоронении скором. К чему тянуть, зачем мудрить, не все ли равно, где быть зарытым, в деле таком чем быстрее, тем лучше.

Рассуждал он таким образом, а сам вроде бы оправдывался, что дела у него срочные да важные ждут на работе и времени в обрез, известное дело, начальству какая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище, велено явиться на службу в такой-то день, в такой-то час, и все тут. Начальство есть начальство, и город есть город...

Едигей выругал себя в душе старым дураком. Стыдно и жаль стало, что плакал навзрыд, растроганный появлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа. Едигей поднялся с места, сидели они человек пять на старых шпалах, приспособленных вместо скамеек у стены, и ему пришлось собрать немало сил своих, чтобы только сдержаться, не наговорить при людях в такой день чего обидного, оскорбительного. Пощадил память Казангапа. Сказал только:

– Места-то вокруг полно, конечно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких где попало. Неспроста, должно быть. А иначе земли, что ли, жалко кому? – И замолчал, и его молча слушали боранлинцы. – Решайте, думайте, а я пойду узнаю, как там дела.

И пошел с потемневшим, неприязненным лицом подальше от греха. Брови его сошлись на переносице. Крут он был, горяч – Буранным прозвали еще и за то, что характером был тому под стать. Вот и сейчас, будь они наедине с Сабитжаном, высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслуживал. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь! Но не хотелось в бабьи разговоры лезть. Женщины вот шушукаются, возмущаются – приехал, мол, сынок хоронить отца как в гости. С пустыми руками в карманах. Хоть бы пачку чая привез, не говоря уж о другом. Да и жена, сноха-то городская, могла бы уважить, приехать, поплакать и попричитать, как заведено. Ни стыда ни совести. Когда старик был жив да при достатке – пара дойных верблюдиц, овец с ягнятами полтора десятка, – тогда он был хорош. Тогда она наезжала, пока не добилась, чтобы все было продано. Увезла старика вроде к себе, а сами понакупили мебели да машину заодно, а потом и старик оказался ненужным. Теперь и носа не кажет. Хотели было женщины шум

поднять, да Едигей не позволил. Не смейте, говорит, и рта раскрывать в такой день, и не наше это дело, пусть сами разбираются...

Он зашагал к загону, возле которого стоял на привязи, изредка, но сердито покрикивая, пригнанный им с выпаса Буранный Каранар. Если не считать того, что раза два приходил Каранар с гуртом воды напиться из колодца у водокачки, то почти целую неделю днями и ночами гулял он на полной свободе. От рук отбился, злодей, и вот теперь выражал свое недовольство – свирепо разевая зубатую пасть, вопил время от времени: старая история – снова неволя, а к ней надо привыкать.

Едигей подошел к нему раздосадованный после разговора с Сабитжаном, хотя заранее знал, что так оно и будет. Получалось – Сабитжан делал им одолжение, присутствуя на похоронах собственного отца. Для него это обуза, от которой надо суметь побыстрее отвязаться. Не стал Едигей тратить лишних слов, не стоило того, поскольку так и так приходилось делать все самому, да вот и соседи не остались в стороне. Все, кто не был занят на линии, помогали в приготовлениях к завтрашним похоронам и поминкам. Женщины посуду собирали по домам, самовары надраивали, тесто месили и уже начали хлебы печь, мужчины носили воду, распиливали на дрова отслужившие свой срок старые шпалы – топливо в голой степи всегда первейшая надобность, как и вода. И только Сабитжан мешался тут, отвлекая от дел, разглагольствовал о том о сем, кто на какой должности в области, кого сняли с работы, кого повысили. А то, что жена его не приехала хоронить свекра, это его нисколько не смущало. Чудно, ей-богу! У нее, видите ли, какая-то конференция, а на ней должны присутствовать какие-то зарубежные гости. А о внуках и речи нет. Они там борются за успеваемость и посещаемость, чтобы аттестат получить в лучшем виде для поступления в институт. «Что за люди пошли, что за народ! – негодовал в душе Едигей. – Для них все важно на свете, кроме смерти!» И это не давало ему покоя: «Если смерть для них ничто, то, выходит, и жизнь цены не имеет. В чем же смысл, для чего и как они живут там?»

Едигей в сердцах накричал на Каранара:

– Ты чего орешь, крокодил? Ты чего орешь в небо, как будто там тебя сам Бог слышит? – Крокодилом обзывал Едигей своего верблюда в самых крайних случаях, когда уж совсем выходил из себя. Это приезжие путейцы придумали Буранному Каранару такую кличку за зубатую пасть его и злой норов. – Ты у меня докричишься, крокодил, я тебе все зубы пообломаю!

Надо было соорудить седло на верблюде, и, приступая к делу, Едигей понемногу отошел, смягчился. Залюбовался. Красив и могуч был Буранный Каранар. До головы рукой не дотянешься, хотя Едигей был росту достаточного. Едигей изловчился, пригнул верблюду шею и, постукивая кнутовищем по мозолистым коленям, внушая строгим голосом, осадил его. Громко протестуя, верблюд все же подчинился воле хозяина, и, когда наконец, сложив под себя ноги, он прилег грудью на землю и успокоился, Едигей принялся за дело.

Оседлать верблюда по-настоящему – это большая работа, все равно что дом построить. Седло сооружается каждый раз заново, сноровка должна быть, да и силы немалые, тем более если седлаешь такого громадного верблюда, как Каранар.

Каранаром, то есть Черным нармом, он прозывался неспроста. Черная патлатая голова с черной, росшей до загривка мощной бородой, шея понизу вся в черных космах, свисающих до колен густой дикой гривой – главное украшение самца, – пара упругих горбов, возвышающихся, как черные башни, на спине. И в завершение всего – черный кончик куцега хвоста. А все остальное – верх шеи, грудь, бока, ноги, живот, – наоборот, было светлое, светло-каштановой масти. Тем и пригож был Буранный Каранар, тем и славен – и статью и мастью. И сам он в ту пору находился в самой атановской зрелости – третий десяток шел Каранару от роду.

Верблюды долго живут. Оттого, наверное, детенышей рожают на пятом году и затем не каждый год, а лишь в два года раз, и плод вынашивают в утробе дольше всех животных – двенадцать месяцев. Верблюжонка, самое главное, выходить в первые год-полтора, чтобы уберечь

от простуды, от сквозняка степного, а потом он растет день ото дня, и тогда ничто ему не страшно – ни холод, ни жара, ни безводье...

Едигей знал толк в этом деле – содержал Буранного Каранара всегда в справности. Первый признак здоровья и силы – черные горбы на нем торчали как чугунные. Когда-то Казангап подарил ему верблюжонка еще молочным, махоньким, пушистым, как утенок, в те годы первоначальные, когда вернулся Едигей с войны да обосновался на разъезде Боранлы-Буранном. А сам Едигей молодой был еще – куда там! Знать не знал, что пребудет здесь до стариковских седин. Иной раз глянет на те фотографии и сам не верит себе. Здорово изменился – сивым стал. Даже брови и те побелели. В лице, конечно, изменился. А телом не потяжелел, как бывает в таком возрасте. Как-то само по себе получилось – вначале усы отрастил, потом бороду. А теперь вроде никак без бороды, все равно что голым ходить. Целая история минула, можно сказать, с тех пор.

Вот и сейчас, оседывая Каранара, лежащего на земле, приструнивая его то голосом, то намахом руки, когда тот нет-нет да и огрызался, рвякая, как лев, поворачивая черную патлатую голову на длинющей шее, Едигей между делом припоминал сегодня, что было да как было в те годы. И отходил душой...

Долго он возился, все укладывал, отлаживал сбрую. В этот раз, прежде чем устроить седло, он накрыл Каранара лучшей выездной попоной старинной работы, с разноцветными длинными кистями, с ковровыми узорами. Уж и не помнил, когда в последний раз украшал он Каранара этой редкой сбруей, ревниво сберегаемой Укубалой. Выпал теперь такой случай...

Когда Буранный Каранар был оседлан, Едигей заставил его подняться на ноги и остался очень доволен. И даже возгордился своей работой. Каранар выглядел внушительно и величественно, украшенный попоной с кистями и мастерски сооруженным седлом между горбами. Нет, пусть полюбуются молодые, особенно Сабитжан, пусть поймут: похороны достойно прожившего человека не обуза, не помеха, а великое, пусть и горестное, событие и тому должны быть свои подобающие почести. У одних играют музыку, выносят знамена, у других палят в воздух, у третьих цветы раскидывают и венки несут...

А он, Буранный Едигей, завтра с утра возглавит верхом на Каранаре, убранном попоной с кистями, путь на Ана-Бейит, провожая Казангапа к его последнему и вечному местопребыванию... И всю дорогу Едигей будет думать о нем, пересекая великие и пустынные сарозеки. И с мыслями о нем предаст его земле на родовом кладбище, как и был у них о том уговор. Да, был такой уговор. Далеко ли, близко ли путь держать, но никто не разубедит его в том, что нужно выполнить волю Казангапа, даже родной сын покойного...

Пусть все знают, что быть посемеру, и для этой цели его Каранар готов – оседлан и обряжен сбруей.

Пусть все видят. Едигей повел Каранара на поводу от загона вокруг всех домов и поставил на привязь возле казангаповской мазанки. Пусть все видят. Не может он, Буранный Едигей, не сдержать своего слова. Только напрасно он это доказывал. Пока Едигей занимался сбруей, Длинный Эдильбай, улучив момент, отозвал Сабитжана в сторону:

– Пошли-ка в тенек потолкуем.

Там у них разговор состоялся недолгий. Эдильбай не стал уговаривать, высказался напрямик:

– Ты вот что, Сабитжан, возблагодари Бога, что есть такой Буранный Едигей на свете, друг твоего отца. И не мешай нам похоронить человека как положено. А спешишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю горсть земли!

– Это мой отец, и я сам знаю... – начал было Сабитжан, но Эдильбай перебил его на полуслове:

– Отец-то твой, да только вот ты сам не свой.

– Ну ты скажешь, – пошел на попятную Сабитжан. – Ладно, давай не будем в такой день. Пусть будет Ана-Бейит, какая разница, просто я думал – далековато...

На том разговор их закончился. И когда Едигей, поставив Каранара всем напоказ, вернулся и сказал боранлинцам: «Да бросьте вы неджигитские речи. Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите...» – то никто не возразил, все молча согласилось...

Вечер и ночь того дня коротали все сообща, по-соседски, во дворе перед домом умершего, благо и погода к тому располагала. После дневной жары наступила резкая предосенняя прохлада сарозеков. Великая, сумеречная, безветренная тишина объяла мир. И уже в сумерках закончили свежевать тушу заколотого к завтрашним поминкам барана. А пока чай пили у дымящих самоваров да разговоры всякие вели о том о сем... Почти все приготовления к похоронам были сделаны, и теперь оставалось лишь ждать утра, чтобы двинуться на Ана-Бейит. Тихо и умиротворенно протекали те вечерние часы, как и полагается при кончине престарелого человека – что уж больно тужить...

А на разъезде Боранлы-Буранном, как всегда, приходили и уходили поезда – сходились с востока и запада и расходились на восток и запад...

Так обстояли дела в тот вечер накануне выезда на Ана-Бейит, и все бы ничего, если бы не один неприятный случай. К тому времени попутным товарняком прибыла на похороны отца и Айзада со своим мужем. И как только она огласила свое появление громким рыданием, женщины окружили ее и тоже подняли плач. Особенно Укубала переживала, убивалась вместе с Айзадой. Жалела она ее. Крепко они плакали и причитали. Едигей пытался было успокоить Айзаду: что ж, мол, теперь делать, за умершим вслед не умрешь, надо примириться с судьбой. Но Айзада не унималась.

Так оно бывает зачастую – смерть отца явилась для нее поводом выплакаться, излить принародно душу, все то, что давно не находило открытого выхода в слове. Плача в голос, обращаясь к умершему отцу, растрепанная и опухшая, горько сетовала она по-бабьи на свою нескладную судьбину, что некому ее ни понять, ни приветить, что не удалась ее жизнь с молодых лет, муж – пропойца, дети с утра до вечера околачиваются на станции без призора и строгости и потому превратились в хулиганов, а завтра, может, и бандитами станут, поезда начнут грабить, старший вон выпивать уже начал, и милиция уже приходила, предупредили ее – скоро дело дойдет до прокуратуры. А что она может поделать одна, а их шестеро! А отцу хоть бы что...

А тому и действительно было хоть бы что, муж ее сидел себе опустившийся и смурной, с грустным, отрешенным видом, все же на похороны тестя приехал, и молча курил себе вонючие, бросовые сигареты. Для него это было не впервой. Он знал: покричит-покричит баба и устанет... Но тут некстати вмешался брат – Сабитжан. С того и началось. Сабитжан стал совестить сестру: где это видано, что это за манера, зачем она приехала – отца хоронить или себя срамить? Разве так пристало оплакивать казахской дочери своего почтенного отца? Разве великие плачи казахских женщин не становились легендами и песнями для потомков на сотни лет? От тех плачей лишь мертвые не оживали, а все живые вокруг исходили слезами. А умершему воздавалась хвала и все его достоинства возносились до небес – вот как плакали прежние женщины. А она? Развела тут сиротскую жалобу, как ей плохо и худо на свете!

Айзада только этого вроде и ждала. И вскричала она с новой силой и яростью. Ах ты какой умный и ученый выискался! Ты, мол, вначале свою жену научи. Ты эти красивые слова вначале ей втолкуй! Почему-то она не приехала и не показала нам плач величальный. А уж ей-то не грешно было бы и воздать должное отцу нашему, потому как она, бестия, и ты, подкаблучник подлый, обобрали, ограбили старика до ниточки. Мой муж, какой он ни алкоголик, но он здесь, а где твоя умная-разумная?

Сабитжан тогда стал орать на ее мужа, чтобы он заставил замолчать Айзаду, а тот вдруг взбеленился и кинулся душиить Сабитжана...

С трудом удалось боранлинцам утихомирить разошедшихся родственников. Неприятно и стыдно было всем. Едигей очень расстроился. Знал он им цену, но такого оборота не ожидал. И в сердцах предупредил их строго-настрою: если вы не уважаете друг друга, то не позорьте хотя бы память отца, а иначе не позволю вам здесь никому оставаться, не посмотрю ни на что, пеняйте на себя...

Да, вот такая нехорошая история вышла накануне похорон. Сильно был мрачен Едигей. И опять напряженно сошлись брови на хмуром челе, и опять терзали его вопросы – откуда они, дети их, и почему они стали такими? Разве об этом мечтали они с Казангапом, когда в жару и стужу возили их в кумбельский интернат, чтобы только выучились, вышли в люди, чтобы не остались прозябать на каком-нибудь разъезде в сарозеках, чтобы не кляли потом судьбу: вот, мол, родители не позаботились. А получилось-то все наоборот... Почему, что помешало им стать людьми, от которых не отвращалась бы душа?..

И опять Длинный Эдильбай выручил, чуткость житейскую проявил, чем очень облегчил положение Едигея в тот вечер. Он-то понимал, каково было Едигею. Дети умершего родителя всегда главные лица на похоронах, так уж оно устроено на свете. И никуда их не денешь, никуда не удалишь, какими бы бесстыжими и никчемными они ни оказались. Чтобы как-то сгладить омрачивший всех скандал между братом и сестрой, Эдильбай пригласил всех мужчин к себе в дом. Что, мол, мы будем во дворе звезды на небе считать, пойдете почаюем, посидим у нас...

В доме у Длинного Эдильбая Едигей попал будто в иной мир. Он и прежде захаживал сюда по-соседски и каждый раз оставался доволен, душа его наполнялась отрадой за эдильбаевскую семью. Сегодня же ему хотелось подольше побыть здесь, потребность была такая – точно он должен был восстановить в этом доме некие утраченные силы.

Длинный Эдильбай был таким же путевым рабочим, как и другие, получал не больше других, жил, как и все, в половине сборно-щитового домика из двух комнат да кухни, но совсем иная жизнь царилась здесь – чисто, уютно, светло. Тот же самый чай, что и у других, в эдильбаевских пиалах Едигею казался прозрачным сотовым медом. Жена Эдильбая и собой ладная, и дому хозяйка, и дети как дети... Поживут в сарозеках сколько смогут, полагал Едигей про себя, а там переберутся куда получше. Жаль очень будет, когда уедут они отсюда...

Сбросив свои кирзачи еще на крыльце, сидел Едигей во внутренней комнате, поджав под себя ноги в носках, и первый раз за день почувствовал, что и устал и проголодался. Прислонился спиной к дощатой стене, примолк. А вокруг расположились по краям круглого наземного столика остальные гости, негромко переговариваясь о том о сем...

Настоящий разговор возник потом, странный разговор завязался. Едигей уже и забыл о космическом корабле, стартовавшем прошлой ночью. А вот знающие люди кое-что сказали такое, что и он призадумался. Не то чтобы он сделал открытие для себя, просто подивился их суждениям и своему неведению на этот счет. Но он при том не испытывал внутреннего укора – для него все эти космические полеты, столь занимающие всех, были очень далеким, почти магическим, чуждым ему делом. Потому и отношение ко всему этому было настороженно-почтительное, как к появлению некой могучей безликой воли, которую в лучшем случае он вправе лишь принять к сведению. И, однако, зрелище уходящего в космос корабля потрясло и захватило его. Об этом и зашла речь в доме Длинного Эдильбая.

Сидели они вначале, пили шубат – кумыс из верблюжьего молока. Отличный был шубат, прохладный, пенистый, слегка хмельной. Приезжие контрольно-ремонтные путейцы, бывало, здорово пили его, называли сарозекским пивом. А к горячей закуске в этом доме оказалась и водка. Когда случалось такое дело, Буранный Едигей вообще-то не отказывался, выпивал за компанию, но в этот раз не стал и тем самым, как полагал он, и другим дал понять, что не советует увлекаться – завтра предстоял тяжелый день, далекий путь. Беспокоило его то, что другие, особенно Сабитжан, налегали, запивали водку шубатом. Шубат и водка хорошо совмещаются, как пара добрых коней, хорошо идут в одной упряжке – поднимают настроение

человека. Сегодня же это было ни к чему. Но как прикажешь взрослым людям не пить? Сами должны знать меру. Успокаивало, по крайней мере, то, что муж Айзады пока воздерживался от водки, алкоголику сколько надо-то, окосел бы враз, но он пил только шубат, видимо, понимал все-таки, что это уж слишком – валяться в дым пьяным на похоронах тестя. Однако насколько хватит его выдержки, одному Богу было ведомо.

Так сидели они в разговорах о разностях, когда Эдильбай, потчужа гостей шубатом – руки у него длиннющие, разгибаются и сгибаются наподобие ковша экскаватора, – вспомнил вдруг, протягивая очередную чашку Едигею с того края стола:

– Едике, вчера ночью, когда я сменил вас на дежурстве, только вы удалились, как что-то стряслось в воздухе, я аж закачался. Глянул, а то ракета с космодрома пошла в небо! Огромная! Как дышло! Вы видели?

– Ну еще бы! Рот разинул! Вот это сила! Вся в огне полыхает и все вверх, вверх, ни конца ей, ни края! Жутко стало. Сколько живу здесь, никогда такого не видел.

– Да и я впервые своими глазами увидел, – признался Эдильбай.

– Ну, если ты впервые, то такие, как мы, и подавно не могли увидеть, – решил подшутить Сабитжан над его ростом.

Длинный Эдильбай на это лишь усмехнулся вскользь.

– Да что я, – отмахнулся он. – Смотрю и сам себе не верю – сплошь огонь гудит в вышине! Ну, думаю, еще кто-то двинулся в космос. Счастливого пути! И давай быстрее крутить транзистор, я его всегда с собой беру. Сейчас, думаю, по радио передают наверняка. Обычно сразу же передача с космодрома. И диктор на радостях как на митинге вроде выступает. Аж мурашки по коже! Очень хотелось мне, Едике, узнать, кто это, кого лично видел я в полете. Но так и не узнал.

– А почему? – опережая всех, подивился Сабитжан, многозначительно и важно приподнимая брови. Он уже начал пьянеть. Распарился, раскраснелся.

– Не знаю. Ничего не сообщили. Я «Маяк» все время на волне держал, ни слова не сказали даже...

– Не может быть! Тут что-то не так! – вызывающе усомнился Сабитжан, отхлебнув глоток водки и запивая ее шубатом. – Каждый полет в космос – это мировое событие... Понимаешь? Это наш престиж в науке и политике!

– Не знаю почему. И в последних известиях специально слушал, и обзор газет слушал тоже...

– Хм! – покрутил головой Сабитжан. – Будь я на месте, на службе своей, я бы, конечно, знал! Обидно, черт возьми. А возможно, тут что-то не то?

– Кто его знает, что тут то, что не то, а только мне лично обидно, ей-богу, – чистосердечно выкладывал Длинный Эдильбай. – Для меня он вроде свой космонавт. При мне полетел. А может, думаю, кто из наших парней отправился. То-то будет радости. Вдруг где и встретимся, приятно ведь было бы...

Сабитжан торопливо перебил его, возбужденный какой-то догадкой:

– А-а, я понимаю! Это запустили беспилотный корабль. Выходит, для эксперимента.

– Как это? – покосился Эдильбай.

– Ну, экспериментальный вариант. Понимаешь, это проба. Беспилотный транспорт пошел на стыковку или на выход на орбиту, и пока неизвестно, как и что получится. Если все удачно произойдет, то будет сообщение и по радио и в газетах. А если нет, то могут и не информировать. Просто научный эксперимент.

– А я-то думал, – Эдильбай огорченно поскреб лоб, – что живой человек полетел.

Все примолкли, несколько разочарованные сабитжановским объяснением, и, возможно, разговор на том и заглох бы, да только сам Едигей нечаянно сдвинул его на новый круг:

– Стало быть, как я понял, джигиты, в космос ушла ракета без человека? А кто ей управляет?

– Как кто? – изумленно всплеснул руками Сабитжан и торжествуя глянул на невежественного Едигея. – Там, Едике, все по радио делается. По команде Земли, из Центра управления. Всеми делами по радио управляют. Понимаешь? И если даже космонавт на борту, все равно по радио направляют полет ракеты. А космонавту надо разрешение получить, чтобы самому что-то предпринимать... Это, кокетай³ дорогой, не на Каранаре ехать по сарозекам, очень там все сложно...

– Вот оно что, скажи, – невнятно проронил Едигей.

Буранному Едигею непонятен был сам принцип управления по радио. В его представлении радио – это слова, звуки, доносимые по эфиру с далеких расстояний. Но как можно управлять таким способом неодушевленным предметом? Если внутри предмета человек находится, тогда другое дело: он исполняет указания – делай так, делай эдак. Хотел Едигей все это порасспросить, да решил, что не стоит. Душа почему-то противилась. Промолчал. Очень уж снисходительным тоном преподносил Сабитжан свои познания. Вот, мол, вы ничего не знаете, да еще считаете меня никчемным, а зять, алкоголик последний, душить меня даже кинулся, а я больше всех вас понимаю в таких делах. «Ну и бог с тобой, – подумал Едигей. – На то мы тебя учили всю жизнь. Должен же хоть что-то знать больше нас, неучей». И еще подумалось Буранному Едигею: «А что, если такой человек у власти окажется – заест ведь всех, заставит подчиненных прикидываться всезнайками, иных нипочем не потерпит. Он пока на побегушках состоит, и то как хочется ему, чтобы все в рот ему глядели, хотя бы здесь, в сарозеках...»

А Сабитжан и впрямь, должно быть, задался целью окончательно поразить, подавить боранлинцев, возможно, с тем, чтобы таким образом поднять себе цену в их глазах после позорного скандала с сестрой и свояком. Заговорить, отвлечь решил. И стал он рассказывать им о невероятных чудесах, о научных достижениях, а сам при этом то и дело пригублял водку, полглотка да еще полглотка, да все запивал шубатом. От этого он все больше возгорался и стал рассказывать такие невероятные вещи, что бедные боранлинцы не знали уже, чему верить, а чему нет.

– Вот посудите сами, – говорил он, поблескивая очками и обводя всех распаленным, завораживающим взором, – мы, если разобраться, самые счастливые люди в истории человечества. Вот ты, Едике, самый старший теперь среди нас. Ты знаешь, Едике, как было прежде и как теперь. К чему я говорю? Прежде люди верили в богов. В Древней Греции жили они якобы на горе Олимп. Но что это были за боги?! Придурки. Что они могли? Между собой не ладили, тем и прославились, а изменить образ жизни людской они не могли, да и не думали об этом. Их и не было, этих богов. Это все мифы. Сказки. А наши боги – они живут рядом с нами, вот здесь, на космодроме, на нашей сарозекской земле, чем мы и гордимся перед лицом всего мира. Их никто из нас не видит, никто не знает, и не положено, не полагается каждому встречному Мыркынбаю-Шыйкымбаю руку совать: здорово, мол, как живешь? Но они настоящие боги! Вот ты, Едике, удивляешься, как они управляют по радио космическими кораблями. Это уже чепуха, пройденный этап! То аппаратура, машины действуют по программе. А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами. Вы понимаете – людьми, всеми поголовно, от мала до велика. Есть уже такие научные данные. Наука и этого добилась, исходя из высших интересов.

– Постой, постой, как чуть – сразу высшие интересы! – перебил его Длинный Эдильбай. – Ты вот что скажи, что-то я не очень в толк возьму. Выходит, каждый из нас должен постоянно иметь при себе небольшой радиоприемник наподобие транзистора, чтобы слышать команду? Так это уже повсюду есть!

³ *Кокетай* – ласкательно уменьшительное и в то же время снисходительное обращение.

– Ишь ты какой! Да разве об этом речь? То ерунда, то детские штучки! Никому не надо при себе ничего иметь. Ходи хоть голый. А только незримые радиоволны – так называемые биотоки – будут постоянно воздействовать на тебя, на твое сознание. И куда ты тогда денешься?

– Вон как?

– А ты думал! Человек будет все делать по программе из центра. Ему кажется, что он живет и действует сам по себе, по своей вольной воле, а на самом деле по указанию свыше. И все по строгому распорядку. Надо, чтобы ты пел, – сигнал – будешь петь. Надо, чтобы ты танцевал, – сигнал – будешь танцевать. Надо, чтобы ты работал, – будешь работать, да еще как! Воровство, хулиганство, преступность – все забудется, только в старых книгах читать об этом придется. Потому что все будет предусмотрено в поведении человека – все поступки, все мысли, все желания. Вот, скажем, в мире сейчас демографический взрыв, то есть людей очень много расплодилось, кормить нечем. Что надо делать? Сокращать рождаемость. С женой будешь иметь дело только тогда, когда сигнал на то дадут, исходя из интересов общества.

– Высших интересов? – не без ехидства уточнил Длинный Эдильбай.

– Вот именно, государственные интересы превыше всего.

– А если я без этих интересов захочу это самое с женой или еще как?

– Эдильбай, дорогой, ничего не получится. Тебе такая мысль в голову не придет. Покажи тебе самую что ни на есть раскрасавицу – ты даже глазом не поведешь. Потому что биотоки отрицательные подключат. Так что и с этим делом наведут полный порядок. Будь уверен. Или взять военное дело. Все по сигналу будет. Надо в огонь – в огонь прыгнет, надо с парашютом – глазом не мигнет, надо взорваться с атомной миной под танком – пожалуйста, одним моментом. Почему, спросите вы меня? Дан биоток бесстрашия – и все, никаких страхов у человека... Вот как!..

– Ох и врать же горазд! Ну несешь! Чему тебя столько лет учили? – искренне удивлялся Эдильбай.

Сидящие откровенно посмеивались, ерзали, качали головами, вот, мол, заливают парень, но однако же, продолжали слушать – чертовщину несет, но занимательно, неслыханно, хотя все понимали, что он уже изрядно опьянел, запивая понемногу водку шубатом, какой с него спрос, пусть болтает. Где-то что-то слышал человек, а что тут правда, что ложь, стоит ли голову ломать. Да, но Едигею вдруг стало по-настоящему страшно – неспроста каркает наш болтун, обеспокоился он, ведь он это где-то вычитал или слышал краем уха, ведь он все узнает с лёта, где что неладно. А что, если и в самом деле существуют такие люди, к тому же большие ученые, которые и вправду жаждут править нами, как боги?..

Сабитжан же выдавал без удержу, благо его еще слушали. Зрачки под вспотевшими очками расширились, как кошачьи глаза в темноте, а он все пригублял то водку, то шубат. Теперь он, размахивая руками, рассказывал байку о каком-то Бермудском треугольнике в океане, где таинственно исчезают корабли и неизвестно куда пропадают пролетающие над этим местом самолеты.

– Вот у нас один в области все добивался за границу съездить. И чего уж там такого, подумаешь! Ну и съездил на свою голову. Других оттер, полетел куда-то через океан, то ли в Уругвай, то ли в Парагвай, – и с концом. Прямо над Бермудским треугольником самолета как не было, исчез. Не стало его, и все! А потому, друзья, к чему кого-то просить, добиваться разрешения, кого-то оттирать в сторону, обойдемся и без Бермудских треугольников, живи на собственной земле, при собственном здоровье. Давайте выпьем за наше здоровье!

«Ну пошло! – ругнулся про себя Едигей. – Сейчас он свою любимую присказку вспомнит. Эх, наказание! Как только выпьет, нет ему тормозов!» Так оно и вышло.

– Выпьем за наше здоровье! – повторил Сабитжан, оглядывая сидящих мутным, неустойчивым взором, но все еще силясь придать выражению лица своего некую многозначительную важность. – А наше здоровье – это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоро-

вье – государственная ценность. Вот оно как! Не такие уж мы простые, мы государственные люди! И еще я хочу сказать...

Буранный Едигей резко встал с места, не дожидаясь, пока тот закончит произносить свой тост, и вышел из дома. Громыхая в темноте на крыльце – то ли порожнее ведро, то ли еще что-то путалось под ногами, – он с ходу надел свои кирзачи, похолодевшие к тому времени на открытом воздухе, и пошел домой огорченный и обозленный. «Эх, бедный Казангап! – неслышно застонал он, прикусывая ус от обиды. – Что же это – и смерть не смерть, и горе не горе! Сидит, выпивает себе, как на вечеринке, и хоть бы что! Придумал себе эту чертову присказку – государственное здоровье, и вот так каждый раз. Ну, дай-то Бог завтра все честь по чести соблюсти, а как схороним да первые поминки справим, ноги его больше не будет, избавимся, кому он здесь нужен и кто ему нужен?!»

А все-таки порядочно, оказывается, засиделись в доме Длинного Эдилбая. Время к полуночи подошло. Едигей вдыхал полной грудью остудившийся воздух ночных сарозеков. Погода обещала быть назавтра, как обычно, ясной и сухой, довольно жаркой. Всегда так. Днем жарко, а ночью холодина, озноб прошибает. Оттого и засушливые степи кругом – трудно растениям приспособиться. Днем они тянутся к солнцу, расправляются, влаги жаждут, а ночью их холод бьет. Вот и остаются только те, что выживают. Колючки разные, полынь большей частью да на выносах из оврагов разнотравье клоками держится, его можно накопить на сено. Геолог Елизаров, давнишний друг Буранного Едигея, рассказывал, бывало, прямо-таки картину такую расписывал, что когда-то здесь были богатые травянистые места, климат был иной, дождей выпадало в три раза больше. Ну, ясное дело, и жизнь оттого была иная. Стада, табуны, отары бродили по сарозекам. Давно, наверно, это было, возможно, до того еще, как объявились здесь те самые свирепые пришельцы – жуаньжуаны, от которых и след простыл в веках, один слух остался. А иначе как могло разместиться в сарозеках столько люду. Недаром же Елизаров говорил: сарозеки – позабытая книга степной истории... Он считал, что история Ана-Бейитского кладбища тоже не случайное дело. Иные есть грамотеи, историей признают только то, что написано на бумаге. А если в те времена книги не писались, тогда как быть?..

Прислушиваясь к проходящим через разъезд поездам, Едигей по какой-то странной аналогии вспомнил штормы Аральского моря, на берегу которого родился, вырос и жил до войны. Казангап ведь тоже был аральский казах. Оттого и сблизились они, оказавшись на железной дороге, и часто тосковали в сарозеках о своем море, а незадолго до смерти Казангапа весной съездили вдвоем на Арал, оказывается, старик прощаться ездил с морем. Но лучше бы не ездили. Расстройство одно. Море-то ушло, оказывается. Исчезает, высыхает Арал. Километров десять ехали по прежнему дну, по голому суглинку, пока добрались до края воды. И тут Казангап сказал: «Сколько стоит земля – стояло Аральское море. Теперь и оно усыхает, что уж тут говорить о человеческой жизни». И еще он сказал тогда: «Ты меня схорони на Ана-Бейите, Едигей. А с морем я вижу последний раз!»

Буранный Едигей вытер рукавом набежавшую слезу, прокашлялся, чтобы в горле не осталось жалобной хрипоты, и пошел в казангаповскую мазанку, где сидели, соблюдая траур, Айзада, Укубала и с ними другие женщины. Боранлинские женщины приходили сюда то одна, то другая между делом, чтобы побыть вдвоем да подсобить в чем, если потребуется.

Проходя мимо загона, Едигей приостановился на минуту возле коряги, вкопанной в землю, у которой стоял наготове оседланный и обряженный в попону с кистями Буранный Каранар. При лунном свете верблюд казался огромным, могучим, невозмутимым, как слон. Едигей не удержался, похлопал его по боку.

– Ну и здоров же ты!

Уже у самого порога вспомнил Едигей почему-то, даже сам не понимая отчего, вчерашнюю ночь. Как прибежала к железной дороге степная лисица, как он не посмел, передумал

кинуть в нее камнем и как потом, когда пошел домой, стартовал с космодрома вдали огненный корабль в черную бездну...

III

В этот час на Тихом океане, в северных его широтах, было уже утро, восьмой час утра. Ослепительная солнечная погода разлилась нескончаемым светом над необозримо мерцающим великим затишьем. И, кроме воды и неба, в этих пределах не существовало ничего иного. Однако же именно здесь, на борту авианосца «Конвенция», разыгрывалась пока никому за пределами корабля не известная мировая драма в связи с неслыханным случаем в истории освоения космоса, имевшим место на американско-советской орбитальной станции «Паритет».

Авианосец «Конвенция» – научно-стратегический штаб Обценупра по совместной планетологической программе «Демидург», – немедленно прервавший по той причине всякие сношения с окружающим миром, не изменил своего постоянного местопребывания южнее Алеутских островов в Тихом океане, а, наоборот, еще точнее скоординировался в этом районе на строго одинаковом по воздуху расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско.

На самом научном судне тоже произошли некоторые изменения. По указанию Генеральных соруководителей программы, американского и советского, оба дежурных оператора блока космической связи – один советский, другой американский, – принявших информацию о чрезвычайном происшествии на «Паритете», были временно, но строго изолированы во избежание утечки сведений о случившемся...

Среди персонала «Конвенции» было введено положение повышенной готовности, хотя судно не имело ни военного предназначения, ни тем более никакого вооружения и пользовалось статусом международной неприкосновенности по специальному решению ООН. То был единственный в мире невоенный авианосец.

К одиннадцати часам дня с интервалом в пять минут ожидалось прибытие на «Конвенцию» ответственных комиссий обеих сторон, облеченных безусловным правом принимать экстренные решения и практические меры, которые они сочтут необходимыми в интересах безопасности своих стран и мира.

Итак, авианосец «Конвенция» находился в тот час в открытом океане южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско. Такой выбор места был не случаен. Как никогда прежде, на этот раз со всей очевидностью проявились изначальная прозорливость и предусмотрительность творцов программы «Демидург», ибо даже местонахождение судна, на котором претворялся в жизнь сообщенный разработанный план планетологических изысканий, отражало принципы полного равноправия, абсолютно паритетных начал этого уникального научно-технического международного сотрудничества.

Авианосец «Конвенция» со всем оборудованием, оснащением, энергетическими запасами принадлежал на равных долях обеим сторонам и являлся, таким образом, кооперативным судном государств-пайщиков. Он имел прямую и одновременно действующую радиотелефонно-телевизионную связь с Невадским и Сарозекским космодромами. На авианосце базировались восемь, по четыре от каждой стороны, реактивных самолетов, осуществляющих постоянно все транспортные перевозки и передвижения, необходимые Обценупру в его повседневных связях с материками. На «Конвенции» были два паритет-капитана – советский и американский: паритет-капитан 1-2 и паритет-капитан 2-1; каждый из них был главным в момент несения вахты. Весь корабельный экипаж соответственно дублировался – помощники паритет-капитанов, штурманы, механики, электрики, матросы, стюарды...

По той же системе была построена структура научно-технического персонала Обценупра на «Конвенции». Начиная от Генеральных соруководителей программы от каждой стороны – Главных паритет-планетологов 1-2 и 2-1, все последующие научные работники всех специ-

альностей также соответственно дублировались, представляя в равной степени обе стороны. Потому-то и космическая станция, находящаяся на самой отдаленной когда-либо от земного шара орбите «Трамплин», называлась «Паритет», отражая суть земных взаимоотношений.

Всему этому, разумеется, предшествовала большая, разнообразная подготовительная работа научных, дипломатических, административных учреждений в обеих странах. Потребовалось немало лет, пока обе стороны на бесчисленных встречах и совещаниях пришли к согласованию всех общих и частных вопросов программы «Демиург».

Программа «Демиург» ставила колоссальнейшую задачу космологических проблем века – изучение планеты Икс с целью использования ее минеральных ресурсов, таящих в себе немислимые по земным представлениям запасы внутренней энергии. Сотня тонн иксианской породы, почти свободно лежащей на поверхности звездного тела, при соответствующей обработке могла высвободить столько внутренней энергии, сколько потребовалось бы в преобразованном виде в качестве электричества и тепла всей Европе на целый год. Такова оказалась энергетическая природа материи на Иксе, возникшая в особых условиях Галактики под воздействием длительной планетарной эволюции, на протяжении многих миллиардов лет. Об этом свидетельствовали пробы грунта, неоднократно доставлявшиеся космическими аппаратами с поверхности Икса, об этом же говорили результаты экспедиций, совершивших несколько раз кратковременные высадки на эту красную планету нашей Солнечной системы.

Решающим же фактором в пользу проекта освоения Икса оказалось то, чего не было ни на одной другой известной науке планете, включая Луну и Венеру, – наличие свободной воды в недрах столь пустынной с виду Иксианской звезды. Бесспорное наличие воды на Иксе подтвердилось буровыми пробами. По расчетам ученых, под поверхностью Икса мог залегать слой воды толщиной в несколько километров, удерживаемый в неизменном состоянии нижерасположенными пластами холодных каменистых пород.

Именно наличие такого огромного количества воды на Иксианской звезде обеспечивало реальность программы «Демиург». Вода в данном случае являлась не только источником влаги, но и исходным материалом синтеза других элементов, необходимых для поддержания жизни и нормального функционирования человеческого организма в инопланетных условиях, прежде всего воздуха для дыхания. Кроме того, с производственной точки зрения вода играла основную роль в технологии первичной флотации иксианской породы перед загрузкой ее в транскосмические контейнеры.

Обсуждался вопрос, где следует извлекать иксианскую энергию: на орбитальных станциях в космосе, чтобы затем передавать ее на Землю по геосинхронным орбитам, или же непосредственно на самой Земле. Время еще терпело.

Уже готовилась большая экспедиция по долговременной высадке группы буровиков и гидрологов, которым предстояло оборудовать постоянный и автоматически управляемый приток воды из недр Икса в систему водопроводов. Орбитальная станция «Паритет» являлась, применяя терминологию альпинистов, главным базовым лагерем на пути к Иксу. На «Паритете» уже были сооружены необходимые конструкции для причаливания, разгрузки и погрузки транспортных «челноков», которые будут курсировать между Иксом и «Паритетом». Со временем, с достройкой блоков, на «Паритете» могли бы разместиться более ста человек в весьма комфортабельных условиях, включая постоянный прием телевизионных передач с Земли.

В этом большом космическом предприятии добыча и анализ иксианской воды были бы первым актом производственной деятельности, когда-либо осуществляемой человеком вне пределов своей планеты...

И этот день близился. И все шло к тому...

На Сарозекском и Невадском космодромах завершались последние приготовления к гидротехнической операции на Иксе. «Паритет», находясь на орбите «Трамплин», был готов к принятию и переброске на Икс первой рабочей группы космических целинников.

По сути дела, современное человечество стояло у истоков начала своей вземной цивилизации...

И именно в этот момент, накануне осуществления засылки первой группы гидрологов на Икс, два паритет-космонавта, находившиеся на орбите «Трамплин» с долгосрочной космической вахтой на «Паритете», бесследно исчезли...

Они вдруг перестали отвечать на какие бы то ни было сигналы – ни в установленное время сеансов связи, ни в прочее время. Впечатление было угнетающее – кроме датчиков, постоянно обозначающих местонахождение станции, и канала коррекции ее движения, все остальные системы радиотелевизионной связи бездействовали.

Время шло. «Паритет» не отзывался ни на какие обращения к нему. Тревога на «Конвенции» возрастала. Строились всякие догадки и предположения. Что с ними, с паритет-космонавтами? В чем причина их молчания? Не заболели ли, не отравились ли какой-нибудь непригодной пищей? И вообще живы ли они?

Наконец было использовано последнее средство – был послан сигнал на включение системы общей пожарной тревоги на станции. Никакой реакции и на это устрашающее действие.

Над программой «Демииург» нависала серьезная опасность. И тогда Обценупр на «Конвенции» прибег к последней своей возможности для выяснения обстоятельств. К «Паритету» были экстренно запущены на стыковку со станцией два космических корабля с двумя космонавтами – с Невадского и Сарозекского космодромов.

Когда синхронная стыковка осуществилась, что само по себе было делом в высшей степени трудным, первое известие, полученное от проникших на «Паритет» космонавтов-контролеров, было ошеломляющим: обойдя все отсеки, все лаборатории, все этажи, все до последнего закоулка, они заявили, что не обнаружили на борту станции паритет-космонавтов. Их здесь не было – ни живых, ни мертвых...

Такое не могло прийти никому в голову. Никакое воображение не в силах было представить, что произошло, куда вдруг подевались два человека, находившихся свыше трех месяцев на орбитальной станции, до сих пор четко выполняя все возложенные на них функции. Не испарились же они! Не выбрались же в открытый космос!

Сеанс обследования «Паритета» проходил при прямой радиотелевизионной связи с «Конвенцией», при непосредственном участии обоих Генеральных соруководителей – Главных паритет-планетологов. Было хорошо видно на множестве экранов Обценупра, как космонавты-контролеры, переговариваясь, обходили, проплывая в невесомости, все блоки и помещения орбитальной станции. Они обследовали станцию шаг за шагом, при этом все время докладывая о своих наблюдениях. Этот разговор был зафиксирован в магнитофонной записи:

«Паритет». Вы наблюдаете? На станции никого нет. Мы никого не обнаруживаем.

«Конвенция». Есть ли следы каких-нибудь разбитых предметов, нарушений, поломок на станции?

«Паритет». Нет. Все выглядит, как и положено, все в порядке. Все на своем месте.

«Конвенция». Не попадались ли вам на глаза следы крови?

«Паритет». Абсолютно нет.

«Конвенция». Где находятся и в каком состоянии личные вещи паритет-космонавтов?

«Паритет». Да, кажется, все на своем месте.

«Конвенция». А все-таки?

«Паритет». Впечатление такое, что они были здесь совсем недавно. Книжки, часы, проигрыватель и всякие другие вещи – все на месте.

«Конвенция». Хорошо. Нет ли каких записей где-нибудь на стене или на бумаге?..

«*Паритет*». Ничего такого на глаза не попадалось. Хотя постойте! Вахтенный журнал раскрыт на какой-то большой записи. Чтобы он не плавал в невесомости, журнал закреплен зажимами и обращен раскрытыми страницами к входящему...

«*Конвенция*». Читайте, что там написано!

«*Паритет*». Сейчас попытаемся. Это два текста, расположенных рядом столбцами на английском и русском языках...

«*Конвенция*». Читайте, что вы медлите!

«*Паритет*». Заголовок – «Послание землянам». А в скобках – объяснительная записка.

«*Конвенция*». Стоп. Не читайте. Сеанс связи прерывается. Ждите. Через некоторое время мы снова вызовем вас. Будьте готовы.

«*Паритет*». О'кей!

В этом месте диалог между орбитальной станцией и Обценупром был приостановлен. Посоветовавшись между собой, Генеральные соруководители программы «Демииург» попросили всех, кроме двух дежурных паритет-операторов, покинуть блок космической связи. Только после этого снова был возобновлен сеанс двусторонней связи. Вот текст, оставленный паритет-космонавтами на орбите «Трамплин»:

«Уважаемые коллеги, поскольку мы покидаем орбитальную станцию «Паритет» при весьма необычных обстоятельствах на неопределенное время, возможно на бесконечно долгое, все будет зависеть от целого ряда факторов, связанных с нашим беспрецедентным предприятием, мы считаем своим неременным долгом объяснить мотивы нашего поступка.

Мы прекрасно сознаем, что наш поступок покажется, несомненно, не только неожиданным, но, разумеется, и недопустимым с точки зрения элементарной дисциплины. Однако исключительный факт, с которым мы столкнулись, находясь на орбитальной станции в космосе, факт, равный которому трудно представить во всей истории человеческой культуры, позволяет нам рассчитывать, по крайней мере, на понимание...

Некоторое время тому назад мы стали улавливать среди бесчисленного множества радиопимпульсов, исходящих из космического окружения и в значительной степени от самой земной ионосферы, насыщенной нескончаемыми шумами и помехами, один направленный радиосигнал в узкочастотной полосе, который, будучи самым узким и потому легко выделяемым, заявлял о себе регулярно, всегда в одно и то же время и всегда с одинаковыми интервалами. Поначалу мы не обращали на него особого внимания. Но он продолжал настойчиво напоминать о себе, систематически исходя из строго определенной точки Вселенной, строго ориентируясь, судя по всему, на нашу орбитальную станцию. Теперь мы определенно знаем: эти искусственно направленные радиоволны поступали в эфир и прежде, задолго до нашей вахты, третьей по счету, ведь «Паритет» находится на орбите «Трамплин» в дальнем космосе вот уже более полутора лет. Трудно объяснить, почему, должно быть по чистой случайности, мы первыми заинтересовались подачей этого сигнала из Вселенной. Как бы то ни было, мы стали наблюдать, фиксировать, изучать природу этого явления и постепенно, все больше убеждаясь, пришли к выводу об искусственном его происхождении.

Но не так скоро свыклись мы с этой мыслью. Сомнения не покидали нас все это время. Как могли мы утверждать существование внеземной цивилизации, опираясь лишь на один факт искусственного, как мы полагали, радиосигнала, исходящего из неведомых глубин вселенского мира? Нас удерживало то обстоятельство, что все предыдущие попытки науки, неоднократно предпринимавшиеся с самой минимальной задачей – обнаружения хоть каких-либо признаков жизни, в самой простейшей форме, хотя бы на сопредельных планетах, – как известно, оказались удручающе бесплодными. Поиски внеземного разума считались маловероятным, а позднее попросту нереальным, утопическим занятием, поскольку с каждым новым шагом в исследовании космических пространств этих шансов даже в теоретическом плане становилось все меньше, если не сказать, что они свелись практически к нулю. Мы не отважива-

лись заявлять о своих догадках. Мы не собирались оспаривать повсеместно утвердившуюся идею уникальности, беспрецедентности, единственности как биологического феномена живой жизни лишь на планете Земля. Делиться своими сомнениями на этот счет мы не считали себя обязанными, поскольку в программу наших рабочих обязанностей по орбитальной станции такого рода наблюдения не входили.

А когда еще один случай явился последним доказательством существования во Вселенной разумной жизни помимо земной, для нас было уже поздно. Мы пережили скачок сознания, переворот, преобразование в своих представлениях о мироустройстве и обнаружили вдруг, что стали мыслить совсем иными категориями, чем до этого. Качественно новое осмысление структуры мироздания, открытие нового обитаемого пространства, существование еще одного мощного очага умственной энергии подвели нас к выводу, что до поры до времени нам необходимо воздержаться оповещать землян о нашем открытии, исходя из новых понятий заботы о Земле. Мы пришли к этому решению в интересах самого современного общества.

Теперь о существе дела. Как это произошло.

Любопытства ради мы решили однажды послать ответный целевой радиосигнал примерно в том же спектре частоты, направив его в ту точку Вселенной, откуда постоянно истекали загадочные регулярные радиоимпульсы. Произошло чудо! Наш сигнал был немедленно принят! Он был уловлен и понят! В ответ на нашей принимающей полосе заработал еще один дубль рядом с прежним, а затем еще один – то было приветственное трио, три синхронных радиосигнала из Вселенной несколько часов кряду, как торжествующий марш, несли с собой ликующую весть о разумных существах вне нашей Галактики, обладающих высочайшей способностью контакта с себе подобными существами на сверхдальних расстояниях. То была революция в наших представлениях о космической биологии, в наших познаниях строения времени, пространства, расстояний... Неужели мы уже не одни на свете, не единственные в своем роде в невообразимо пустынной бесконечности мира, неужели опыт человека на Земле не единственное обретение духа во Вселенной?

Чтобы проверить реальность обнаружения внеземной цивилизации, мы послали направленный радиосигнал с формулой массы земного шара, того, на чем изначально возникла и покоится ныне наша жизнь. В ответ мы получили расшифровку – в свою очередь, примерно такую же формулу массы их планеты. Из этого мы сделали вывод, что та обитаемая планета достаточно больших размеров и с вполне приемлемой силой притяжения.

Так мы обменялись первыми знаниями физических законов, так мы впервые вступили в контакт с внеземными носителями разума.

Инопланетяне оказались активными партнерами в смысле углубления и сближения наших связей. Их стараниями наши контакты быстро насыщались все новым содержанием. Вскоре нам стало известно, что они обладают летательными аппаратами, скорость движения которых равна скорости света. Все это и другие вещи мы узнавали благодаря тому, что оказались в состоянии обмениваться мыслями поначалу путем математических и химических формул, а затем они дали нам понять, что умеют и разговаривать. Выяснилось, что многие годы, с тех пор как земляне, преодолев земное тяготение, вышли в космос и стали в нем стабильно обитать, они изучают наши языки с помощью мощной аудиоастрономической аппаратуры, глубоко прослушивающей Галактику. Улавливая систематическую радиосвязь между космосом и Землей, они умудрились путем сопоставлений и анализа расшифровать для себя значение наших слов и фраз. В этом мы убедились сами, когда они попытались объясниться с нами на английском и русском языках. Для нас это было еще одним невероятным, ошеломляющим открытием...

А теперь о самом главном. Мы отважились посетить эту планету внеземной цивилизации. Лесная Грудь – так примерно расшифровали мы для себя название их планеты. Лесногрудцы сами пригласили нас, это их идея. И мы по зрелом размышлении решились. Они объяс-

нили нам, что их летательный аппарат, имеющий скорость света, достигнет нашей орбитальной станции за двадцать шесть – двадцать семь часов. За такое же время лесногрудцы обязуются доставить нас назад, как только мы того пожелаем. На наш запрос по поводу стыковки они объяснили нам, что это не проблема, ибо лесногрудский летательный аппарат обладает способностью герметического примыкания к любому предмету любой конфигурации и конструкции. Это, должно быть, какое-то свойство электромагнитного примыкания. Мы решили, что самое лучшее будет для нас, если их летательный аппарат примкнет к нашему люку выхода в открытый космос, через который мы могли бы переместиться к ним из орбитальной станции. Таким же способом мы намерены вернуться назад, разумеется, если путешествие в Лесногрудю благополучно завершится...

Итак, мы оставляем на борту «Паритета» свое послание, если угодно, объяснительную записку, открытое письмо, обращение... Не в том суть... Мы достаточно трезво понимаем, на что идем и каково бремя ответственности, которую мы возложили на себя. Мы осознаем, что судьбе угодно оказалось предоставить именно нам наивысшую возможность сослужить такую службу человечеству, выше которой мы не представляем себе ничего...

И, однако, самым мучительным было для нас преодоление чувства долга, связанности, обязанности, дисциплины, наконец... Того, что воспитано в каждом из нас своими давними традициями, законами, общественными нормами морали. Мы покидаем «Паритет», не ставя в известность вас, руководителей Обценупра, и вообще никого из землян, не согласовывая свои цели и задачи ни с кем и ни в какой форме не потому, что пренебрегаем правилами общественной жизни на Земле. Для нас это было темой самых тяжелых размышлений. Мы вынуждены поступить таким образом, ибо нетрудно представить себе, какие настроения, противоречия, страсти разгорятся, как только придут в движение силы, которые даже в каждом лишнем хоккейном голе видят политическую победу и преимущество своей государственной системы. Увы, мы слишком хорошо знаем нашу земную действительность! Кто может поручиться, что возможность контактов с внеземной цивилизацией не станет еще одним поводом для мировой междоусобицы землян?

На Земле трудно или почти невозможно отстраниться от политической борьбы. Но, находясь продолжительное время – многие дни и недели – в дальнем космосе, откуда земной шар кажется не больше автомобильного колеса, с болью и бессильной досадой мы думаем, что нынешний энергетический кризис, доводящий общество до неистовства, до отчаяния, приближающего иные страны к желанию схватиться за атомную бомбу, – это всего лишь крупная техническая проблема, если бы эти страны в состоянии были договориться, что важнее...

Из опасения растревожить, осложнить и без того чреватое опасностями положение землян мы осмелились взять на себя небывалую ответственность – выступить перед лицом носителей внеземного разума от имени всего человеческого рода, в соответствии со своими убеждениями и совестью. Мы надеемся и чувствуем внутреннюю уверенность, что выполним свою добровольную миссию достойным образом.

Наконец, последнее. В своих раздумьях, сомнениях и колебаниях мы в немалой степени были озабочены тем, чтобы не нанести ущерба программе «Демидург» – этому величайшему начинанию в геокосмической истории человечества, выстраданному нашими странами в результате долгих лет взаимного недоверия, приливов и отливов сотрудничества. И все-таки разум восторжествовал – и мы добросовестно служили нашему общему делу в меру своих сил и способностей. Но, соизмерив одно с другим и не желая подвергать программу «Демидург» испытаниям ввиду вышеизложенных опасений, мы выбрали свое – мы покидаем временно «Паритет», с тем чтобы по возвращении доложить человечеству о результатах посещения планеты Лесная Грудь. Если же мы исчезнем навсегда или же если руководство сочтет нас недостойными продолжать нашу вахту на «Паритете», то заменить нас будет не так сложно. Всегда найдутся нужные парни, которые будут работать не хуже нас.

Мы уходим в неизвестность. Нас ведет туда жажда знаний и вековая мечта человека открыть себе подобные разумные существа в иных мирах, с тем чтобы разум объединился с разумом. Однако никому не известно, что таит в себе опыт внеземной цивилизации – благо или зло для человечества? Мы постараемся быть объективными в своих оценках. Если же мы почувствуем, что наше открытие несет в себе нечто угрожающее, нечто разрушительное для нашей Земли, мы клянемся распорядиться собой таким образом, чтобы не навлечь на Землю никакой беды.

И еще раз последнее. Мы прощаемся. Мы видим через наши иллюминаторы Землю со стороны. Она сияет как лучезарный бриллиант в черном море пространства. Земля прекрасна невероятной, невиданной голубизной и отсюда хрупка, как голова младенца. Нам кажется отсюда, что все люди, которые живут на свете, все они наши сестры и братья, и без них мы не смеем и мыслить себя, хотя, мы знаем, на самой Земле это далеко не так...

Мы прощаемся с земным шаром. Через несколько часов нам предстоит покинуть орбиту «Трамплин», и тогда Земля скроется из виду. Инопланетяне-лесногрудцы уже в пути. Вблизи нашей орбиты. Скоро они придут. Через несколько часов. Осталось совсем мало. Ждем.

И еще. Мы оставим письма своим семьям. Очень просим вас всех, кто будет иметь отношение к этому делу, передать наши письма по назначению.

P.S. Справка для тех, кто прибывает на «Паритет» на наше место. В вахтенном журнале мы указали приемно-передаточный канал и частоту радиоволн, с помощью которых мы вступили в контакт с инопланетянами. При необходимости мы будем связываться с вами по этому каналу и передавать свои сообщения. Насколько мы могли уяснить из имевших место радиообщений с лесногрудцами, самый удобный и единственный способ связи – это бортовые системы орбитальной станции, так как радиосигналы, обращенные из Вселенной непосредственно к Земле, не достигают ее поверхности ввиду непреодолимой преграды – мощной ионизированной сферы в атмосферном окружении Земли.

Вот и все. Прощайте. Нам пора.

Идентичный текст послания составлен на двух языках – на английском и русском.

Паритет-космонавт 1-2.

Паритет-космонавт 2-1.

Борт орбитальной станции «Паритет».

Третья вахта. 94-е сутки».

Ровно в назначенный срок, в одиннадцать часов по дальневосточному времени, на палубу авианосца «Конвенция» один за другим приземлились два реактивных самолета с особоуполномоченными комиссиями на борту – от американской и советской сторон.

Члены комиссий были встречены строго по протоколу. Им сразу объявили, что на обед дается полчаса. Сразу после обеда членам комиссий предстояло собраться в кают-компании на закрытое совещание в связи с чрезвычайным положением на орбитальной станции «Паритет».

Но совещание, едва начавшись, было внезапно прервано. Космонавты-контролеры, находившиеся на «Паритете», передали Обценупру на «Конвенцию» первое сообщение, полученное ими от паритет-космонавтов 1-2 и 2-1 из соседней Галактики, с планеты Лесная Грудь.

IV

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежат великие пустынные пространства – Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измеряются применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Что ни говори, а до родового найманского кладбища Ана-Бейит все же не рукой подать – тридцать верст, и то если ехать все время на глазок, спрямляя путь по сарозекам.

Буранный Едигей поднялся в тот день рано. Да он и не спал толком. На рассвете только подремал малость. А до этого был занят – готовил покойного Казангапа. Обычно это делают в день захоронения, незадолго до выноса, перед общей молитвой в доме умершего – перед джаназой. А тут пришлось все это совершать ночью накануне похорон, чтобы с утра сразу, не задерживаясь, двинуться в путь. Сам все сделал, что полагалось, если не считать того, что Длинный Эдильбай воду подтепленную подносил для омовения. Эдильбай немного робел, сторонился покойника. Жутковато, конечно, ему было. Едигей сказал ему на это как бы ненароком:

– Ты, это самое, присматривайся, Эдильбай. Пригодится в жизни. Коли люди рождаются, то и хоронить приходится.

– Да я-то понимаю, – неуверенно отозвался Эдильбай.

– Вот и я об этом же. Скажем, к слову, завтра я помру. Так что, и обрывать никого не найдется? Так и затолкаете меня в какую-нибудь яму?

– Ну почему же! – смутился Эдильбай, присвечивая лампой и пытаясь освоиться возле покойника. – Без вас здесь неинтересно будет. Лучше уж живите. А яма подождет.

Часа полтора ушло на обряжение. Но зато Едигей остался доволен. Омыл покойника как полагается, руки-ноги выправил и уложил как полагается, белый саван скроил и обрядил в него Казангапа как полагается, не жалея на то полотна. А между делом показал Эдильбаю, как саван надо кроить. А потом и себя привел в порядок. Выбрился начисто, усы подправил. Они у него были, как и брови, густые, сильные усы. Только вот седина пошла вперемежку. Посивел. Не забыл Едигей медали свои солдатские, ордена да значки ударнические надраил, нацепил на пиджак, приготовил к завтрашнему дню.

Так и ночь проходила. И все дивился Буранный Едигей самому себе – тому, как запросто и спокойно все это проделывал. А скажи ему кто прежде, не поверил бы, что с руки будет и такое прискорбное занятие. Стало быть, на роду предписано так – хоронить Казангапа суждено ему. Судьба.

Вот то-то. Кто бы мог подумать об этом, когда они впервые увиделись на станции Кумбель. Демобилизовали Едигея после контузии, в конце сорок четвертого. Снаружи вроде бы все в порядке – руки-ноги на месте, голова на плечах, да только голова-то была точно не своя. Шум стоял в ушах, как ветер несмолкающий. Пройдет несколько шагов – зашатается, голова кругом, тошнит. А сам весь в поту, то холодным, то горячим потом обливается. И язык временами не подчиняется – слово выговорить тоже большая работа. Крепко тряхнуло его взрывной волной от немецкого снаряда. Убить не убило, но и жить так никакого резона. Совсем приуныл тогда Едигей. Молодой, здоровый с виду, а вернется домой на Аральское море – что будет делать, на что годится? На счастье, врач попался хороший. Он даже не лечил его, а только осмотрел, прослушал, проверил, как сейчас помнится – здоровенный рыжий мужик в белом халате и колпаке, ясноглазый, носатый, весело похлопал его по плечу, посмеялся.

– Видишь ли, – говорит, – браток, война скоро кончится, а не то бы вернул я тебя в строй немного погодя, повоевал бы ты еще. Да ладно уж. Как-нибудь без тебя дождем до победы. Только ты не сомневайся – через годик, а то и меньше все будет в порядке, здоров будешь, как бугай. Это я тебе говорю, вспомнишь потом. А пока собирайся, езжай в свои края. И не тужи. Такие, как ты, сто лет проживут...

Дело, оказывается, говорил тот рыжий врач. Так оно и получилось. Правда, это сказать просто – годик. А как вышел из госпиталя – в мятой шинельке, с котомкой за спиной, с костылем на всякий случай – да двинулся по городу, точно в лес дремучий попал. В голове шум, в ногах дрожь, в глазах темно. И кому какое дело на вокзалах, в поездах – народу тьма, кто

силен, тот и лезет, а тебя в сторону. И все-таки добрался, дотащился. Почитай через месяц скитаний ночью остановился поезд на станции Аральск. «Пятьсот седьмой веселый» прозывался тот «славный» поезд, никогда и никому не доведется, дай бог, ездить на таких поездах...

А тогда и тому был рад. Слез впотьмах с вагона, как с горы, остановился растерянно, а вокруг ни зги, лишь кое-где станционные огоньки присвечивали. Ветрено было. И вот этот ветер-то его и встретил. Свой, родной, аральский ветер! Морем ударило в лицо. В те дни оно было рядом, плескалось под самой железной дорогой. А теперь и в бинокль не разглядишь...

Дыхание перехватило – со степи тянуло едва уловимой полынной прелью, духом вновь пробуждающейся весны на зааральских просторах. Вот и снова родные края!

Едигей хорошо знал станцию, пристанционный поселок на берегу моря с его кривыми улочками. Грязь налипала на сапоги. Он шел к знакомым, чтобы переночевать там и утром двинуться в свой рыбацкий аул Жангельди, расстояние до которого было изрядное. И сам не заметил, как улочка вывела его на окраину, к самому берегу. И тут Едигей не утерпел, подошел к морю. Остановился у хлюпающей полосы на песке. Скрытое тьмой, море угадывалось по неясным бликам, по гребням волн, возникающим шумным росчерком и тут же исчезающим. Луна была уже предрассветная – белела одиноким пятном за облаком в вышине.

Вот и свиделись, выходит.

– Здравствуй, Арал, – прошептал Едигей.

А потом присел на камень, закурил, хотя доктора очень не советовали курить при его контузии. Позже он бросил это дурное дело. А тогда разволновался – что там дым табачный, тут неясно, как жить дальше. В море выходить – надо крепкие руки иметь, крепкую поясницу и, самое главное, крепкую голову, чтобы не закачалось в шаланде. Был промысловым рыбаком до фронта, а теперь кто он? Инвалид не инвалид, а вообще никуда не годится. И прежде всего голова для рыбацкого дела не годна, это было ясно.

Едигей собирался уже встать с места, когда на побережье появилась откуда-то белая собака. Она бежала трусцой по краю воды. Иногда приостанавливалась, деловито обнюхивая мокрый песок. Едигей приманил ее. Собака доверчиво подошла, остановилась рядом, помахивая хвостом. Едигей потрепал ее по лохматой шее.

– Ты откуда, а? Откуда бежишь? А как звать тебя? Арстан? Жолбарс? Борибасар?⁴ А-а, я понимаю, ты ищешь рыбу на берегу. Ну молодец, молодец! Только не всегда море выбрасывает к ногам снулую рыбку. Ну что ж делать! Приходится бегать. Потому и тощий такой. А я, дружок, домой возвращаюсь. Из-под Кенигсберга. Не дошел немного до этого города, так шарахнуло напоследок снарядом, что едва жив остался. А теперь вот думаю-гадаю, как быть. Что ты так смотришь? Ничего-то у меня нет для тебя. Ордена да медали... Война, друг, голода кругом. А то бы жалко, что ли... Постой, тут вот леденцы есть, для сынишки везу, он у меня бегаёт уже, должно быть...

Едигей не поленился, развязал полупустой вещмешок, в котором вез пригоршню леденцов, завернутых в обрывок газеты, косынку для жены, купленную с рук на проезжей станции, да пару кусков мыла, тоже купленных у спекулянтов. И были еще в вещмешке пара солдатского белья, ремень, пилотка, запасная гимнастерка, брюки – вот и весь багаж.

Пес слизнул с ладони леденец, захрустел, повиливая хвостом и внимательно, преданно глядя обнадеженно засветившимися глазами.

– Ну а теперь прощай.

Едигей встал и пошел вдоль берега. Решил уж не беспокоить людей на станции, близился рассвет, надо было не задерживаясь пробираться в свой аул Жангельди.

Только к полудню того дня добрался в Жангельди, все время идя берегом моря. А до контузии часа за два пробежал это расстояние. И тут его сразила страшная весть – сыночка-то,

⁴ Арстан, жолбарс, борибасар – лев, тигр, волкодав.

оказывается, давно уже нет в живых. Когда Едигея мобилизовали, малышу было полгода. И вот не судьба – умерло дитя одиннадцати месяцев от роду. Заболел краснухой-корью и не вынес жара внутреннего, сгорел, оборвался. Писать отцу на фронт об этом не стали. Куда писать и зачем писать? На войне и без того хватает горького хлеба. Вернется живой – узнает по приезде, погорюет, переживет, рассудили по-своему родственники и Укубале рассоветовали сообщать об этом. Молодые, мол, вот война кончится, народите еще детей, Бог даст. «Ветка обломалась – не беда, главное, чтобы ствол чинары остался цел». И еще соображения были, вслух не высказанные, но всеми понимаемые: если что, война есть война, если пуля сразит, то пусть хоть с надеждой простится в последнее мгновение с белым светом – мол, остался дома отпрыск, род на том не пресекался...

А Укубала за все казнила только себя. Плачем исходила, обнимая вернувшегося мужа. Ведь она ждала этого дня с надеждой и с болью неиссякающей, изводясь в мучительном повинном ожидании. Рассказывала она вся в слезах, что старухи ее сразу предупредили: мол, у ребенка краснуха, штука это коварная, надо дите потеплее завернуть в одеяла стеганные из верблюжьей шерсти, да держать в полной темноте, да поить все время водицей остуженной, а там как Бог даст, если выдержит жар, то выживет. А она, невезучая бейбак⁵, не послушалась аульных старушек. Попросила у соседней телеги да повезла больного ребенка на станцию к докторше. А когда добралась до Аральска на телеге той трясушей, то было уже поздно. Сгорел мальчонка в пути. Докторша ругала ее на чем свет стоит. Надо, говорит, тебе было послушать старушек...

Вот такие известия ожидали Едигея дома, как только он переступил порог. Закаменел, почернел от горя с того часа. Не предполагал он прежде никогда, что затоскует с такой силой по малому дитю, по первенцу своему, которого толком и не понянчил. И от этого еще больнее было сознавать утрату. Никак не мог он забыть той улыбки дитячьей, беззубой, доверчивой, светлой, при воспоминании о которой сердце долго ныло.

С того и началось. Опостылел Едигею аул. Некогда здесь, на суглинистом взгорье прибрежном, было с полсотни дворов. Рыбой аральской промышляли. Артель стояла. Тем и жили. А теперь остался всего десяток мазанок под обрывом. Мужчин никого – всех подчистую война замела. Старые да малые и те наперечет. Многие из них поразъехались по аулам колхозным, скотоводческим, чтобы с голоду не помереть. Распалась артель. Некому стало выходить в море.

Укубала тоже могла уехать к своим, родом она была из степных племен. За ней тоже приезжали родные, хотели забрать к себе. Переждешь, мол, у нас лихолетье, а вернется Едигей с фронта – никто тебя задерживать не станет, возвратишься сразу на свое рыбацкое поселение Жангельди. Но Укубала наотрез отказалась: «Буду ждать мужа. Сыночка потеряла. Если вернется сам живой, то пусть хотя бы жену застанет на месте. Я не одна тут, старые да малые есть, помогать им буду, продержимся сообща».

Правильно она поступила. Да только Едигей с первых дней стал говорить, что не вмоготу ему теперь без дела оставаться здесь, у моря. В этом и он был прав. Родственники Укубалы, прибывшие повидаться с Едигеем, предлагали перебраться к ним. Поживешь, мол, у нас при отарах в степи. А там здоровье пойдет на поправку, займешься делом каким-нибудь, скот пасти сумеешь... Едигей благодарил, но не соглашался. Понимал он, что в тягость будет. День-два погостить у близких жениных родственников куда ни шло. А потом, если ты не работяга, кому ты нужен станешь.

И тогда решили они с Укубалой рискнуть. Решили на железную дорогу податься. Думали, подыщется какая подходящая работа для Едигея – охранником, сторожем или где на переезде шлагбаум открывать да закрывать. Должны же пойти навстречу инвалиду-фронтовику.

С тем и ушли весной. Молодые были, пока ничем не связанные. На первых порах на станциях разных ночевали. Но работы подходящей так и не удавалось подыскать. А с жильем

⁵ Бейбак – несчастливица.

обстояло и того хуже. Жили где придется, перебивались разной случайной работой на железной дороге. Укубала тогда выручала – здоровая и молодая, она и работала большей частью. Едигей, как мужчина с виду вроде здоровый, подряжался на разгрузку и погрузку разную, а Укубала дело делала.

Таким образом очутились они однажды, уже в середине весны, на большой узловой станции Кумбель. Уголь разгружали. Вагоны с углем подавались по запасным путям прямо на задние дворы деповского хозяйства. Здесь уголь скидывали вначале на землю, чтобы побыстрее освободить платформы, а потом на тачках перевозили на-гора, ссыпали в бурты, огромные как дома. Запас на целый год. Непомерно тяжелая, пыльная, грязная была работа. Но и жить надо. Едигей накидывал грабаркой тот уголь на тачку, а Укубала отвозила тачку вверх по настилу, там опрокидывала ее и снова возвращалась вниз. Снова накладывал Едигей тачку угля, и снова Укубала, как ломовая лошадь, катила на-гора из последней мочи тяжелый, не по бабьим силам груз. К тому же день пригревал все больше, жарко становилось, и от этой жары и летучей угольной пыли мутило, подташнивало Едигея. Сам чувствовал, как убывали в нем силы. Так и хотелось повалиться на землю прямо в кучу угля и уж никогда не вставать. Но больше всего убивало его то, что жене приходилось, задыхаясь в черной пылище, делать вместо него то, что полагалось делать ему. Тяжко было ему смотреть на нее. С головы до пят вся в черном налете угля, только белки глаз да зубы светятся. А сама вся мокрая от пота. Грязными потеками струился угольно-черный пот на шею, на грудь, на спину. Будь он в силе прежней, разве допустил бы он такое! Сам один перекидал бы десяток вагонов этого проклятого угля, только бы не видеть мучений жены.

Когда они покидали свой опустевший рыбацкий аул Жангельди, надеясь, что Едигею, как раненому фронтовику, подыщется какая-нибудь работа подходящая, одного не учли они: что таких фронтовиков везде и всюду было полным-полно. И всем им предстояло приспособиваться заново к жизни. Хорошо еще, у Едигея уцелели руки и ноги. А сколько увечных – безногих, безруких, на костылях и протезах – слонялось тогда по железным дорогам. Долгими ночами, когда, устроившись где-нибудь в углу в переполненном, смрадном станционном помещении, они пережидали ночь, Укубала, заранее испросив прощение, обращала свои безмолвные благодарности Богу за то, что муж находится рядом, не покалеченный войной настолько, чтобы это было страшно и безысходно. Ибо то, что она видела на станциях, повергало ее в ужас и страдания. Безногие, безрукие, битые-перебитые люди в донашиваемых шинелях и разной рвани, на колясках, на костылях, с поводьями, бездомные и неприкаянные кочевали по поездам и станциям, ломясь в столовые и буфеты, содрогая душу пьяным ором и плачами... Что ждало впереди каждого из них, чем было возместить не возмещаемое ничем? И лишь за одно то, что такая беда обошла ее стороной, а ведь могла и не обойти, за то, что муж вернулся пусть и контуженный, но не изувеченный, Укубала готова была отработать всему свету самым тяжелым трудом. И потому она не роптала, не сдавалась, не подавала виду, даже когда становилось не под силу тянуть ноги, когда, казалось, всякому терпению приходил конец.

Но Едигею от этого было не легче. Следовало что-то предпринимать, как-то тверже определиться в жизни. Не век же скитаться. И все чаще приходили в голову мысли: а что, если сказать себе «таубакель»⁶ и податься куда в город, а там как повезет? Только бы здоровье вернулось, только бы оклематься от этой проклятой контузии. Тогда еще можно было бы и побороться, постоять за себя... По-всякому могло, конечно, обернуться и в городе, возможно, и приспособились бы со временем и стали бы они горожанами, как многие другие, но судьбе угодно было распорядиться иначе. Да, то пришла судьба, а как по-другому назовешь тот случай...

⁶ Таубакель – была не была.

В те дни, когда они мыкались на станции Кумбель, подрядившись на буртовку вагона угля, на деповском угольном задворье появился однажды какой-то верховой казах на верблюде, прибывший, должно быть, из степи по своим делам. Так, по крайней мере, казалось с виду. Прибывший стреножил верблюда попастись на пустыре поблизости, а сам, озабоченно оглядываясь, пошел с порожним мешком под мышкой.

– Эй, браток, – обратился он к Едигею, проходя мимо, – будь добр, присмотри, чтобы детвора не озоровала. Привычка у них дурная – дразнят, бьют скотину. А то и распутать могут для потехи. А я сейчас, ненадолго отлучусь.

– Иди, иди, присмотрю, – пообещал Едигей, орудя грабаркой и обтираясь черной, потяжелевшей от пота тряпкой.

Пот лил с лица беспрерывно. Едигей так и так топтался возле угольной кучи, нагружая тачку, что стоило приглядеть между делом, чтобы станционные сорванцы не докучали верблюду. Как-то он уже видел их проделки – до того довели животное, что оно тоже стало злобно орать в ответ, плевать да гоняться за ними. А им удовольствие только от этого, и, как первобытные охотники, с диким криком окружившие зверя, они били его камнями и палками. Досталось бедному верблюду, пока не появился хозяин...

И в этот раз, как назло, откуда ни возьмись, шумная ватага оборванцев примчалась гонять в футбол. И стали они этот футбол пинать со всей силы по верблюду стреноженному. Верблюд от них, а они мячом по бокам бухают кто сильнее да кто ловчей. Кто попадет – ликует, точно гол забил...

– Эй, вы, а ну прочь отсюда, не приставайте! – помахал им грабаркой Едигей. – А то я вам сейчас!

Ребята отхлынули, посчитали, что хозяин, наверно, или слишком устрашающим был вид угольного грузчика, а вдруг он к тому же пьяный, тогда несдобровать, и побежали дальше, пиная мяч. Невдомек им было, что они могли безнаказанно изводить верблюда сколько душе угодно, Едигей только для виду пригрозил грабаркой, на самом деле в том состоянии, в котором он тогда находился, ему никогда бы за ними не угнаться. Каждая лопата угля, брошенная в тачку, стоила ему больших усилий. Никогда не думал, что так скверно, так унижительно быть маломощным, больным, никудышным. Голова все время кружилась. И пот замучил. Истекал, изнемогал Едигей, и от пыли угольной тяжело дышалось, и грудь давила черная жесткая мокрота. Укубала то и дело порывалась принять на себя большую часть работы, чтобы он отдохнул немного, посидел в стороне, а тем временем сама нагружала тачку и катила ее на верх бурта. Не мог, однако, Едигей спокойно видеть, как она изводилась, снова вставал, пошатываясь, брался за дело...

Тот человек, который попросил присмотреть за верблюдом, вскоре вернулся с ношей на спине. Устроив поклажу и уже собираясь отправляться в путь, он подошел к Едигею перекинуться словом. Как-то сразу разговорились. Это и был Казангап с разъезда Боранлы-Буранный...

Они оказались земляками. Казангап рассказал, что он тоже родом из прибрежных аральских аулов. Это быстро сблизило их.

Тогда еще ни у кого не возникло и мысли, что эта встреча предопределяет всю последующую жизнь Едигея и Укубалы. Просто Казангап убедил их отправиться вместе с ним на разъезд Боранлы-Буранный, жить и работать там. Бывает такой тип людей, который располагает к себе с первого же знакомства. Ничего особенного в Казангапе не было, напротив, сама простота обозначала в нем человека, умудренность которого добыта тяжким уроком. С виду он был самый обычный казах в выгоревшей, долго ношенной одежде, принявшей удобные для него формы. Штаны из дубленой козьей шкуры тоже были на нем неспроста – удобные для верховой езды на верблюде. Но он знал и цену вещам – относительно новая, береженная для выездов форменная железнодорожная фуражка украшала его большую голову, и сапоги хро-

мовые, ношенные много лет, были тщательно подлатаны и прошиты дратвой во многих местах. Что он коренной степняк, работяга, можно было заметить по его задубелому от жгучего солнца и постоянного ветра коричневому лицу и жестким, жилистым рукам. Ссутулившиеся преждевременно от трудов, плечи его могуче обвисли, и оттого шея казалась длинной, вытянувшейся, как у гусака, хотя роста он был среднего. Удивительные у него были глаза – карие, всепонимающие, внимательные, улыбочивые, с лучами разбегающихся морщин от прищура.

Казангапу тогда уже было лет под сорок. А вполне возможно, так казалось оттого, что и усы, коротко подстриженные щеточкой, и небольшая бурая бородка придавали ему черты жизненной зрелости. Но больше всего доверие он внушал рассудительностью речи. Укубала сразу прониклась уважением к этому человеку. И все, что он говорил, было к месту. А говорил он разумные вещи. Раз, говорит, такая беда – контузия еще в теле сидит, то к чему здоровью вредить. Я, говорит, сразу заметил, Едигей, через силу дается тебе эта работа. Не окреп ты еще для таких дел. Ноги едва таскаешь. Сейчас бы тебе побыть где полегче, на свежем воздухе, молока цельного попить вволю. Вот, скажем, у нас на разъезде люди позарез нужны на путевых работах. Новый начальник разъезда всякий раз речь заводит: ты, мол, старожил здешний, заводи к нам подходящих людей. А где они, такие люди? Все на войне. А кто отвоевал, так тем и в других местах работы хватает. Конечно, и у нас житье не рай. В тяжком месте пребываем – кругом сарозеки, безлюдье да безводье. Воду привозят в цистерне на неделю. И тоже перебои в привозе воды случаются. Бывает и такое. Тогда приходится ездить к дальним колодцам в степи, в бурдюках ее привозить, утром уедешь, к вечеру только вернешься. А все равно, говорил Казангап, лучше в сарозеках быть на своем отшибе, чем так мытариться по разным местам. Крыша над головой будет, постоянная работа будет, покажем, научим, что надо делать, да свое хозяйство можно завести. Это как руки приложишь. Вдвоем-то, говорит, вы вполне заработаете на жизнь. А там здоровье вернется, время покажет, заскучаете – подадитесь куда получше...

Вот такие речи он высказал. Едигей подумал-подумал и согласился. И в тот же день двинулись они вместе с Казангапом в сарозеки, на разъезд Боранлы-Буранный, благо сборы у Едигея и Укубалы даже по тем временам были недолги. Собрали вещички – и в путь-дорогу. Что им стоило тогда – решили попытать и такое счастье. А как потом оказалось, то была их судьба.

На всю жизнь запомнился Едигею тот путь по сарозекам от Кумбеля до Боранлы-Буранного. Сперва они двигались вдоль железной дороги, но постепенно отклонились и ушли по увалам в сторону. Как объяснил Казангап, они срезали наискосок километров десять, так как железная дорога делала здесь большую дугу, обходя дно великого такыра – иссохшего, существовавшего некогда соленого озера. Соль да мокрота болотистая выступают из недр такыра и по сей день. Каждую весну соленая равнина эта просыпалась – заболачивалась, размякала, становясь труднопроходимой, а к лету покрывалась белым жестким налетом соли и затвердевала, как камень, до следующей весны. О том, что некогда существовало здесь обширное соленое озеро, Казангап рассказывал со слов геолога по сарозекам Елизарова, с которым впоследствии Буранный Едигей крепко сдружился. Умный был человек.

А Едигей, тогда еще не Буранный Едигей, а просто случайно встретившийся местному путейцу аральский казах, раненый фронтовик с неустроенной жизнью, доверившись Казангапу, направлялся с женой в поисках работы и пристанища на неведомый разъезд Боранлы-Буранный, не предполагая, что останется там на всю жизнь.

Великие, безбрежные пространства недолго временно зеленеющих по весне сарозеков оглушили Едигея. Вокруг Аральского моря тоже много степей и равнин, чего стоит одно Устюрское плато, но такое пустынное раздолье видеть доводилось впервые. И как потом понял Едигей, только тот мог остаться один на один с безмолвием сарозеков, кто способен был соразмерить величие пустыни с собственным духом. Да, сарозеки велики, но живая мысль человека

объемлет и это. Мудр был Елизаров, умел объяснить то, что подспудно вызревало в смутных догадках.

Кто знает, как почувствовали бы себя Едигей и Укубала по мере углубления в сарозеки, если бы не Казангап, уверенно шагавший впереди, ведя на поводу верблюда. Едигей же ехал верхом среди разной поклажи. Конечно, Укубале полагалось ехать верхом, а не ему. Но Казангап и особенно сама Укубала упростили, почти заставили Едигея взгромоздиться на верблюда: «Мы здоровые люди, а тебе надо пока силы побережь, не спорь, не задерживай, путь далек впереди...» Верблюд был молодой, еще слабый для больших нагрузок, поэтому двое шагали рядом, а третий ехал верхом. Это на нынешнем едигеевском Каранаре спокойно устроились бы все трое и гораздо быстрее, за три с половиной – четыре часа резвого трота, прибыли бы на место. А они добрались тогда до Боранлы-Буранного лишь поздно ночью.

Но путь тот в разговорах да в разглядывании незнакомых мест прошел незаметно. Казангап рассказывал по дороге о здешнем житье-бытье – рассказывал о том, как попал сюда, в сарозекские края, на железную дорогу. Лет-то ему было не так много, оказывается, тридцать шестой пошел в том году, перед окончанием войны. Родом он был из приаральских казахов. Его аул Бешагач отстоял от Жангельди в тридцати километрах по побережью. И хотя давно уже Казангап уехал оттуда, с тех пор прошло много лет, он ни разу не наведился в свой Бешагач. Были на то причины. Отца его, оказывается, выслали по ликвидации кулачества как класса, и тот вскоре умер в пути, возвращаясь из ссылки, когда выяснилось, что никакой он не кулак, что попал он под перегиб и что напрасно, а точнее говоря, ошибочно обошлись столь круто с такими середняками-хозяевами, как он. Дали отбой, но было уже поздно. Семья – братья, сестры – разбрелись тем временем кто куда, лишь бы с глаз подальше. И с тех пор как в воду канули. Казангапа, тогда молодого парня, особо ретивые активисты все принуждали выступать на собрании с осуждением отца, чтобы он сказал принародно, что горячо поддерживает линию, что отец его был правильно осужден как чуждый элемент, что он отрекается от такого отца и что таким, как его отец, классовым врагам нет места на земле и повсюду им должна быть непереносимая гибель.

Пришлось Казангапу податься в очень дальние края, чтобы избежать того позора. Целых шесть лет проработал он в Бетпак-Дале – в Голодной степи под Самаркандом. Землю ту, веками не тронутую, начинали тогда осваивать под хлопковые плантации. Люди нужны были позарез. Жили в бараках, рыли канавы. Землекопом был, трактористом был, бригадиром был, грамоту почетную получил Казангап за ударный труд. Там и женился. В Голодную степь тянулись тогда на заработки люди со всех сторон. Из-под Хивы прибыла каракалпачка Букей вместе с семьей брата на бетпак-далинские работы. А получилось, что суждено им было встретиться. Поженились в Бетпак-Дале и решили вернуться на родину Казангапа, на Аральское море, к своим людям, на свою землю. Но только не продумали все до конца. Ехали долго, с пересадками, на «максимах»⁷, а когда еще одну пересадку стали делать, на Кумбеле, встретил Казангап случайно своих аральских земляков и понял из разговоров, что не следует ему возвращаться в Бешагач. Оказывается, делами там заправляли все те же перегибщики. А раз так, раздумал Казангап возвращаться в свой аул. Не потому, что чего-то опасался, теперь у него была грамота самого Узбекистана. Не хотелось видеть людей, торжествовавших в злослуплении над ним. Им пока все сошло с рук, и как было после всего этого спокойно здороваться, делать вид, что ничего не произошло!

Казангап не любил об этом вспоминать и не понимал, что, кроме него, об этом все уже давно думать забыли. За долгие-долгие годы, последовавшие после приезда в сарозеки, лишь дважды дал он почувствовать, что для него нет забытого. Однажды сын крепко раздосадовал его, в другой раз Едигей неловко пошутил.

⁷ «Максимы» – так назывались эшелоны, предназначенные для перевозки людей.

В один из приездов Сабитжана сидели они все за чаем, беседы вели, новости городские слушали. Рассказывал среди прочего Сабитжан, посмеиваясь, что те казахи да киргизы, которые в годы коллективизации ушли в Сынцзын, теперь снова возвращаются. Там их Китай так прижал в коммунах – есть запретили людям дома, только из общего бака три раза в день, и большим и малым в очереди с мисками. Китайцы им такого показали, что бегут они оттуда как ошпаренные, побросав все имущество. В ноги кланяются, только пустите назад.

– Что тут хорошего? – помрачнел Казангап, и губы его задрожали от гнева. С ним такое случалось крайне редко, и так же редко, если не сказать – почти никогда, не говорил он таким тоном с сыном, которого обожал, учил, ни в чем не отказывал, веря, что тот выйдет в большие люди. – Зачем ты смеешься над этим? – добавил он глухо, все больше напрягаясь от прилившей в голову крови. – Это же беда людская.

– А как же мне говорить? Вот странно! – возразил Сабитжан. – Как есть, так и говорю.

Отец ничего не ответил, отстранив от себя пиалу с чаем. Его молчание становилось невыносимым.

– И вообще, на кого обижаться? – удивленно пожимая плечами, заговорил Сабитжан. – Не понимаю. Еще раз повторяю – на кого обижаться? На время – оно неуловимо. На власть – не имеешь права.

– Знаешь, Сабитжан, мое дело – по мне, то, что мне по плечу. В другие дела я не вмешиваюсь. Но запомни, сын, я думал, ты своим умом уже дошел, так вот запомни. Только на Бога не может быть обиды – если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался, – а за все остальное на земле есть и должен быть спрос! – Казангап встал с места и, не глядя ни на кого, сердито, молча вышел из дома, ушел куда-то...

А в другой раз, уже много лет спустя после кумбельского исхода, когда обосновались, обжились в Боранлы-Буранным, когда народились и выросли дети, загоняя под вечер скотину в загон, дело было весной, Едигей пошутил, глядя на умножившихся с ягнятами овец:

– Разбогатели мы с тобой, Казаке, впору хоть раскулачивать нас заново!

Казангап метнул на него резкий взгляд, и усы даже ощетинились.

– Ты говори, да не заговаривайся!

– Да ты что, шуток не понимаешь, что ли?

– Этим не шутят.

– Да брось ты, Казаке. Сто лет прошло...

– В том-то и дело. Добро отберут у тебя – не пропадешь, выживешь. А душа останется потоптанной, этого ничем не загладишь...

Но в тот день, когда они держали путь по сарозекам из Кумбеля в Боранлы-Буранный, до этих разговоров было еще очень далеко. И еще никто не знал, как и чем кончится прибытие их на разъезд Боранлы-Буранный, много ли там сумеют они продержаться, приживутся ли или пойдут дальше по свету. Попросту речь шла о житье-бытье, и в разговоре Едигей поинтересовался, как получилось, что Казангап на фронт не попал, или болезнь какая нашлась?

– Нет, слава богу, здоровый я, – отвечал Казангап, – никаких болезней у меня не было, и воевал бы я, думаю, не хуже других. Тут вышло все по-другому...

После того как не решился Казангап возвращаться в Бешагач, застряли они на станции Кумбель, деваться было некуда. Снова в Голодную степь – далеко слишком, да и с какой стати, не стоило тогда уезжать отсюда. На Арал опять же раздумали. А начальник станции, добрая душа, приметил их, сердечных, и, расспросив, откуда они и чем собираются заниматься, посадил Казангапа и Букей на проходящий товарняк до разъезда Боранлы-Буранный. Там, сказал он, нужны люди, вот вы как раз подходящая пара. Записку написал начальнику разъезда. И не ошибся. Как ни тягостно оказалось даже по сравнению с Голодной степью – там народу было полно, работа кипела, – как ни страшно было в безводных сарозеках, но понемногу свыклись, приспособились и зажили. Худо-бедно, но сами по себе. Оба числились путевыми рабочими

на перегонах, хотя делать приходилось все, что требовалось по разъезду. Вот так, собственно, и началась их совместная жизнь, Казангапа и его молодой жены Букей, на безлюдном сарозекском разъезде Боранлы-Буранный. Правда, раза два в те годы хотели было они, поднакопив денег, перебраться куда-нибудь в другое место, поближе к станции или к городу, но пока они собирались, тут и война началась.

И пошли эшелоны через Боранлы-Буранный на запад с солдатами, на восток с эвакуированными, на запад с хлебом, на восток с ранеными. Даже на таком глухом полустанке, как Боранлы-Буранный, сразу стало ощутимо, как резко переиначилась жизнь на кругах своих...

Один вслед за другим ревели паровозы, требуя открытия семафоров, а навстречу столько же гудков... Шпалы не выдерживали нагрузки, корежились, преждевременно изнашивались рельсы, деформируясь от тяжести переполненных вагонов. Едва успевали заменить полотно в одном месте, как срочно требовался ремонт дороги в другом...

И ни конца ни края – откуда только черпали эту неисчислимую людскую рать, эшелон за эшелоном проносились на фронт днем и ночью, неделями, месяцами, а потом годами и годами. И все на запад – туда, где схватились миры не на жизнь, а на смерть...

Спустя немного сроку пришел черед и Казангапа. Потребовали на войну. С Кумбеля передали повестку – явиться на сборный пункт. Начальник разъезда схватился за голову, застоял – забирали лучшего путейщика, их и так-то было на Боранлы-Буранном полтора человека. Но что он мог, кто бы его слушать стал, что пропускная способность разъезда не резина... Паровозы ревут у семафоров... Засмеют, если сказать, что срочно нужна еще одна запасная линия. Кому сейчас до этого – враг под Москвой...

И уже вступала на порог первая военная зима, ранняя, поспешающая сумерками, мглстая, пробирающая холодом. А накануне того утра выпал снег. Ночью пошел. Сперва редкой порошей, а потом повалил густо и усердно. И среди великого безмолвия сарозеков, бесконечно простираясь по равнинам, по увалам, по логам, упала сплошным покровом чистая небесная белизна. И сразу зашевелились, легко играючи еще не слежавшимся настом, сарозекские ветры. То были пока начальные, пробные ветры, потом завихрятся, завьюжат, поднимут большие метели. И что тогда будет с тоненькой ниточкой железной дороги, перерезавшей из края в край Серединные земли великих желтых степей, как жилка на виске? Билась жилка – двигались, двигались поезда в ту и другую сторону...

Тем утром уезжал Казангап на фронт. Уезжал один, без всяких проводов. Когда они вышли из дому, Букей остановилась, сказала, что у нее от снега закружилась голова. Казангап подхватил укутанного ребенка из ее рук. К тому времени Айзада уже родилась. И они пошли, возможно последний раз оставляя рядом следы на снегу. Но не жена провожала Казангапа, а он напоследок довел ее до стрелочной будки, перед тем как сесть на попутный товарняк до Кумбеля. Теперь Букей оставалась стрелочницей вместо мужа. Здесь они попрощались. Все, что надо было сказать, было сказано и выплакано еще ночью. Паровоз стоял уже под парами. Машинист торопил, звал Казангапа к себе. И как только Казангап взобрался к нему, паровоз дал длинный гудок и, набирая скорость, проследовал, перепадая колесами на стыке, через стрелку, где, открыв им путь, стояла Букей, туго повязанная платком, перепоясанная, в мужниных сапогах, с флажком в одной руке, с ребенком в другой. Последний раз помахали друг другу... Промелькнули – лицо, взгляд, рука, семафор...

А поезд тем временем уже мчался, оглашая громоханием молочное заснежье сарозеков, молча наплывающих и молча проносящихся по сторонам как белый сон. Ветер задувал в паровоз, привнося к неистребимому запаху выгоревшего шлака в топке запах свежего, первозданного степного снега... Казангап старался подольше задержать в легких этот зимний дух сарозекских просторов и понял, что ему отныне эта земля не безразлична...

На Кумбеле шла отправка мобилизованных. Строили всех в ряды, делали переключку и распределяли по вагонам. И вот тут-то случилась странная история. Когда Казангап пошел со своей колонной на погрузку, кто-то из работников военкомата догнал его на ходу.

– Асанбаев Казангап! Кто тут Асанбаев? Выйти из строя! Иди за мной!

Как сказано, так и поступил Казангап.

– Я Асанбаев!

– Документы!.. Правильно. Он самый. А теперь за мной.

И они пошли назад на станцию, где размещался пункт сбора, тот человек сказал ему:

– Вот что, Асанбаев, ты давай возвращайся домой. Езжай к себе. Понял?

– Понял, – ответил Казангап, хотя ничего не понял.

– В таком разе топай, не толкайся тут. Ты свободен.

Казангап остался в гудящей толпе провожающих и отъезжающих в полной растерянности. Поначалу он даже обрадовался такому повороту дела, а потом вдруг нестерпимо жарко стало ему от догадки, мелькнувшей в глубине сознания. Ах вот оно что! И он стал пробиваться через пробку людей к дверям начальника сбора.

– Куда ты, куда лезешь? – закричали те, что тоже хотели попасть к начальнику.

– У меня срочное дело! Эшелон уходит, срочное дело! – И пробился.

В накуренной до сизой мглы комнате, среди телефонов, бумаг и обступивших людей полуседой, охрипший человек поднял перекошенное лицо от стола, когда Казангап сунулся к нему.

– Ты чего, по какому вопросу?

– Я не согласен.

– С чем не согласен?

– Отец мой был оправдан как попавший под перегиб. Он не кулак! Проверьте у себя все бумаги! Он оправдан как середняк.

– Постой-постой! Чего тебе надо-то?

– Если меня не берете по этой причине, то это неправильно.

– Слушай, не пори хреновину. Кулак, середняк – кому теперь дело до этого! Ты откуда свалился? Кто ты такой?

– Асанбаев с разъезда Боранлы-Буранный.

Начальник стал заглядывать в списки.

– Так бы и сказал. Морочишь тут голову. Средняк, бедняк, кулак! На тебя бронь! По ошибке вызвали. Есть приказ самого товарища Сталина – железнодорожников не трогать, все остаются на местах. Давай не мешай тут, гони на свой разъезд и дело давай...

Закат застал их где-то в пути, неподалеку от Боранлы-Буранного. Теперь они снова приближались к железнодорожной линии, и уже слышны были гудки пробегающих в ту и другую сторону поездов, и можно было различить составы вагонов. Издали среди сарозеков они выглядели игрушечными. Солнце медленно угасало позади, высвечивая и одновременно затеняя чистые лога и холмы вокруг, и вместе с тем незримо зарождались над землей сумерки, постепенно затемняя, насыщая воздух синевой и остывающим духом весенней земли, еще сохранявшей остатки зимней влаги.

– Вот наш Боранлы! – указал рукой Казангап, оборачиваясь к Едигею на верблюде и к поспешавшей рядом Укубале. – Теперь немного осталось, скоро доберемся, Бог даст. Отдохнете.

Впереди, там, где железная дорога делала чуть заметный изгиб, на пустынной плоскости стояло несколько домиков, а на запасном пути дожидался открытия семафора проходящий состав. И дальше и по сторонам чистое поле, пологие увалы – немое, немереное пространство, степь да степь...

Сердце Едигея упало – сам приморский степняк, привыкший к аральским пустыням, он не ожидал такого. От синего, вечно меняющегося моря, на берегу которого вырос, к мертвенному безморью! Как тут жить-то?!

Укубала, идя рядом, дотянулась рукой до ноги Едигея и прошла несколько шагов, не убирая руки. Он понял. «Ничего, – говорила она, – главное, чтобы здоровье твое вернулось. А там поживем – увидим...»

Так приближались они к месту, где предстояло им, как оказалось потом, провести долгие годы – всю остальную жизнь.

Вскоре солнце угасло, и уже в темноте, когда ясно и четко обозначилось в сарозекском небе множество звезд, они добрались до Боранлы-Буранного.

Несколько дней жили у Казангапа. А потом отделились. Дали им комнату в тогдашнем бараке для путевых рабочих, и с того началась их жизнь на новом месте.

При всех невзгодах и тягостном, особенно на первых порах, безлюдье сарозеков полезными для Едигея оказались две вещи – воздух и верблюжье молоко. Воздух был первозданной чистоты, другой такой девственный мир найти было бы трудно, а молоко Казангап устроил, дал им на подой одну из двух верблюдиц.

– Мы тут с женой посоветовались, что к чему, – сказал он, – нам своего молока хватает, а вы берите себе на подой нашу Белоголовую. Она верблюдица молодая, удоиная, вторым окотом идет. Сами ухаживайте и сами пользуйтесь. Только глядите, чтобы сосунка не заморить. Он ваш, мы с женой так порешили – это тебе, Едигей, от меня на развод, для начала. Сбережешь – стадо вокруг него завяжется. Надумаете вдруг уезжать – продашь, деньги будут.

Детеныш у Белоголовой – черноголовый, крошечный, с малюсенькими темными горбиками – родился всего полторы недели назад. И такой трогательно глазастый – огромные, выпуклые, влажные глаза его светились детской лаской и любопытством. Иногда он начинал забавно бегать, подпрыгивать, резвиться возле матери и звать ее, когда оставался в загончике, почти человеческим, жалобным голоском. Кто мог бы подумать – это и был будущий Буранный Каранар. Тот самый неутомимый и могучий, который станет со временем знаменитостью округа. С ним окажутся связанными многие события в жизни Буранного Едигея. А тогда сосунок нуждался в постоянном присмотре. Крепко привязался к нему Едигей. Возился с ним все свободное время. К зиме маленький Каранар заметно подрос, и тогда с наступлением холодов сшили ему теплую попонку, застегивающуюся на подбрюшье. В этой попонке он был совсем смешной – только голова, шея, ноги да два горбика были снаружи. В том одеянии он ходил всю зиму и начало весны – круглые сутки в степи под открытым небом.

К зиме того года Едигей почувствовал, как постепенно возвращались к нему силы. Даже не заметил, когда перестала голова кружиться. Мало-помалу исчез постоянный гул в ушах, перестал обливаться потом при работе. А в середине зимы при больших заносах на дороге он уже мог наравне со всеми выходить на аврал. А потом настолько окреп, молодой ведь был, да и сам от природы напористый, забыл даже, как худо да туго было совсем недавно, как едва ноги таскал. Сбылись слова рыжебородого доктора.

В минуты благодущия Едигей, бывало, шутил, обращаясь к верблюжонку, лаская его, обнимая за шею:

– Мы с тобой вроде как молочные братья. Ты вон как подрос на молоке Белоголовой, а я от контузийной немощи избавился, кажется. Дай Бог, чтоб навсегда. Разница лишь в том, что ты сосал вымя, а я выдаивал да шубат делал...

Много лет спустя, когда Буранный Каранар достиг такой славы в сарозеках, что приехали какие-то люди специально фотографировать его, – а это было, уже когда война забылась, дети учились, когда на разъезде появилась собственная водокачка и проблема воды таким образом была окончательно решена, а Едигей уже дом поставил под железной крышей, – словом, когда

жизнь после стольких лишений и мытарств вошла наконец в свое достойное, нормальное для человеческой жизни русло, тогда и вышел один разговор, который Едигей долго помнил потом.

Приезд фотокорреспондентов, так они сами отрекомендовались, конечно же, был редким, если не единственным случаем в истории Боранлы-Буранного. Шустрые, словоохотливые фотокоры, их было трое, не поскупились на посулы – с тем, мол, мы и прибыли, чтобы пропечатать во всех газетах и журналах Буранного Каранара и его хозяев. Шум и суета вокруг Каранару не очень нравились – он раздраженно покрикивал, скрипел зубатой пастью и недоступно задирает голову, чтобы его оставили в покое. Приезжим приходилось все время просить Едигея, чтобы он умирал верблюда, поворачивал его то так, то эдак. А Едигей, в свою очередь, всякий раз звал детей, женщин и самого Казангапа, чтобы, стало быть, не один он, а все вместе были засняты, полагал, что так будет лучше. Фотокоры охотно мирились с этим, щелкали разными аппаратами. Самый коронный номер был, когда на Буранного Каранара насели все ребята, двое на шею, а еще человек пять на спину, а посередине сам Едигей, – вот, мол, какой силы верблюдище! То-то было шума и веселья! Но потом фотокорреспонденты признались, что для них важно заснять атана самого по себе, без людей. Пожалуйста, какой разговор!

И тогда фотографы стали снимать Буранного Каранара, прицеливаясь сбоку, спереди, вблизи, издали, как могли и умели, а потом с помощью Едигея и Казангапа стали делать обмеры – замерили высоту в холке, обхват груди, обхват запястья, длину корпуса и все записывали, восхищаясь:

– Великолепный бактериан! Вот где гены отлично сработали! Классический тип бактериана! Какая мощная грудь, отличный экстерьер!

Лестно было, конечно, Едигею слышать такие отзывы, но пришлось спросить, что означали эти непонятные для него слова, «бактериан» например. Оказалось, так называется в науке древняя порода двугорбых верблюдов.

– Значит, он бактериан?

– Редкой чистоты. Алмаз.

– А зачем вам все эти обмеры?

– Для научных данных.

Насчет газет и журналов приезжие, конечно, пыль пустили в глаза боранлинцам для пущей важности, но через полгода прислали бандеролью учебник, предназначенный для зоотехнических факультетов по верблюдоводству, на обложке которого красовался классический бактериан – Буранный Каранар. И фотоснимков прислали целую кучу, среди них и цветные. Даже по фотографиям можно судить – счастливое, отрадное было время. Невзгоды послевоенных лет остались позади, дети еще не вышли из детскости, взрослые все живы-здоровы, и старость еще крылась за горами.

В тот день в честь гостей Едигей заколол барашка и устроил славное пиршество для всех боранлинцев. Шубата, водки и всякой снеди было полно. Тогда заезжал на разъезд передвижной вагон-магазин орса, в котором привозили все, что душе угодно. Лишь бы деньги были. Всякие там крабы, черная и красная икра, рыбы разных сортов, коньяки, колбасы, конфеты и прочее и прочее. И надо же, когда все есть, то не очень-то покупали. Зачем лишнее? Теперь магазин этот передвижной давно уже исчез с путей...

А тогда славно посидели, пили даже за Буранного Каранара. И в разговоре выяснилось, что гости прослышали о Каранаре от Елизарова. Это Елизаров рассказал им, что в сарозеках живет его друг Буранный Едигей и что он хозяин самого красивого верблюда на свете – Буранного Каранара! Елизаров, Елизаров! Отличный человек, знаток сарозеков, ученый... Когда Елизаров приезжал в Боранлы-Буранный, собирались они втроем с Казангапом, сколько разговоров бывало ночами напролет...

Поведали они гостям, то Казангап, то Едигей, продолжая и дополняя друг друга, сарозекское предание об истории прародительницы здешней породы верблюдов, о знаменитой бело-

головой верблюдице Акмае и ее не менее знаменитой хозяйке Найман-Ане, покоящейся на кладбище Ана-Бейит. Вот ведь откуда вел свой род Буранный Каранар! Боранлинцы надеялись, что, может быть, в газете какой напечатают об этой старинной истории. Гости с интересом выслушали, но посчитали, должно быть, что это какая-то местная легенда, бытующая из поколения в поколение. А вот Елизаров был другого мнения. Он считал, что легенда об Акмае вполне может отражать то, что было, как он говорил, в ту историческую действительность. Он любил слушать такие вещи, он и сам знал немало степных преданий из прошлого...

Выпроводили гостей уже к вечеру. Довольный, гордый был Едигей. Оттого и сказал не подумав. Выпил ведь все-таки с гостями. Но что сказано, то сказано.

– А что, Казаке, признайся, – сказал он Казангапу, – не жалеешь ли, грешным делом, что подарил мне сосунком Каранара?

Казангап глянул на него с усмешкой. Видимо, не ожидал такого. И, помолчав, ответил:

– Все мы люди, конечно. Но знаешь, есть такой закон, дедами еще сказанный: мал иеси кудайдан⁸. Это дело от Бога. Так суждено. Именно твоим должен быть Каранар, и именно ты его хозяином. А попади он, скажем, в другие руки, неизвестно, каким бы он был, а может, и не выжил бы, околел и мало что еще могло приключиться. Свалился бы с обрыва. Тебе он должен был принадлежать. У меня ведь и прежде бывали верблюды, и неплохие. И от этой же матки, от Белоголовой, от которой Каранар. А у тебя он был один-единственный, дареный... Дай Бог, чтоб сто лет тебе он служил. Только напрасно ты так думаешь...

– Ну извини, извини, Казаке, – застыдился Едигей, сожалея, что ляпнул такое.

И в продолжение их разговора поделился Казангап своим наблюдением. По преданию, золотая matka Акмая принесла семерых детенышей – четырех маток, трех самцов. И вот с тех пор все матки рождаются светлые, белоголовые, все самцы, наоборот, черноголовые, а сами каштановой масти. Оттого Каранар и уродился таким. От белоголовой матки черный верблюд. Это первый признак его происхождения от Акмаи, и с тех пор кто его знает, сколько лет прошло – двести, триста, пятьсот или больше, но в сарозеках род Акмаи не переводится. И нет-нет да появится такой верблюд-сырттан⁹, как Буранный Каранар. А Едигею просто-напросто повезло. На его мужицкое счастье, народился Каранар и попал в его руки...

А когда пришло время что-то делать с Каранаром – или кастрировать, или держать его в оковах, потому что стал он буяннить страшно, не допуская к себе людей, убежал, пропадал где-то по нескольку суток, – Казангап прямо сказал Едигею, когда тот стал советоваться с ним:

– Это дело твое. Хочешь спокойной жизни – оскопи. Хочешь славы – не тронь. Но тогда бери на себя весь ответ, если что. Хватит сил и терпения – подожди, перебунтует года три и будет потом за тобой ходить.

Не тронул Едигей Буранного Каранара. Нет, не посмел, рука не поднялась. Оставил его атаном. Но были моменты – умывался кровавыми слезами...

V

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства – Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

⁸ Хозяин скотины от Бога.

⁹ Сырттан – сверхсущество, например, сверхсобака, сверхволк.

Рано утром все было готово. Наглухо запеленатое в плотную кошму и перевязанное снаружи шерстяной тесьмой тело Казангапа с закутанной головой уложили в прицепную тракторную тележку, предварительно подстлав на дно опилок, стружек и слой чистого сена. Надо было не очень-то задерживаться с выездом, чтобы к вечеру, не позднее пяти-шести часов, успеть вернуться с кладбища. Тридцать километров в один конец, да столько же в другой, да захоронение – вот и получается, что поминки справлять придется где-то только около шести вечера. С тем и отправлялись в путь, чтобы поспеть к поминкам. И все было уже готово. Держа на поводу оседланного и обряженного еще со вчерашнего вечера Каранара, Буранный Едигей поторапливал людей. И вечно они возятся. Сам он, хотя и не спал всю ночь, выглядел подтянутым, сосредоточенным, хотя и осунулся. Чисто выбритый, сивоусый и сивобровый Едигей был в лучшем наряде – хромовых сапогах, в вельветовых мешковатых галифе, в черном пиджаке поверх белой рубашки, и на голове выходная железнодорожная фуражка. На груди его поблескивали все боевые ордена, медали и даже значки ударника пятилеток. Все это ему шло и придавало внушительность. Таким, пожалуй, и должен был бы быть Буранный Едигей на похоронах Казангапа.

На проводы собрались все боранлинцы от мала до велика. Толпились возле прицепа, ждали выезда. Женщины не переставая плакали. Как-то само собой вышло, Буранный Едигей сказал собравшимся:

– Мы сейчас отправляемся на Ана-Бейит, на самое почитаемое старинное кладбище в сарозеках. Покойный Казангап-ата заслужил это. Он сам завещал похоронить его там. – Едигей задумался, что сказать еще, и продолжил: – Стало быть, кончились вода и соль, предназначенные ему на роду. Этот человек проработал на нашем разъезде ровно сорок четыре года. Можно сказать – всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже водокачки. Воду привозили в цистерне на целую неделю. Тогда не было снегоочистителей и других машин, которые теперь есть. Не было даже такого трактора, на котором теперь мы везем его хоронить. Но все равно поезда шли, и путь им был всегда готов. Казангап честно отслужил свой век на Боранлы-Буранном. Он был хорошим человеком. Вы все знаете. А теперь мы двинемся. Всем туда не на чем и незачем ехать. Да и линию не имеем права оставлять. Мы поедем туда вшестером. И мы все сделаем как подобает. А вы ждите нас и готовьтесь, по возвращении все собирайтесь на поминки, зову от имени его детей, вот они – сын и дочь его...

Хотя Едигей и не думал, получился вроде как бы маленький траурный митинг. С тем они тронулись. Боранлинцы пошли немного за прицепом и остались кучкой за домами. Некоторое время слышался еще громкий плач – то голосили вслед Айзада и Укубала...

И когда смолкли позади выкрики и они вшестером, все дальше уходя от железной дороги, углубились в сарозеки, Буранный Едигей облегченно вздохнул. Теперь они были сами по себе, и он знал, что надо делать.

Солнце уже поднималось над землей, щедро и отрадно заливая светом сарозекские просторы. Пока еще было прохладно в степи и ничто внешне не отягощало их движения. В целом мире привычно и недоступно парили в выси только два коршуна да иногда выпархивали из-под ног жаворонки, смущенно щебеча и трепыхая крылышками. «Скоро и они улетят. С первым снегом соберутся в стаи и улетят», – отметил про себя Едигей, представив на мгновение падающий снег и улетающих в той снежной пелене пташек. И опять вспомнилась ему почему-то та лисица в ночи, прибежавшая к железной дороге. Он даже огляделся украдкой по сторонам – не идет ли где следом. И опять подумалось об огненной ракете, поднимавшейся той ночью над сарозеками в космос. Удивляясь странным мыслям своим, он все же заставил себя забыть об этом. Не о том пристало думать в такой час, хоть путь был далек...

Восседая на своем Каранаре, Буранный Едигей ехал впереди, указывая направление на Ана-Бейит. Широким, размашистым тротом шел под ним Каранар, все больше втягиваясь в дорожный ритм движения. Для понимающего человека Каранар был особенно красив на ходу.

Голова верблюда на гордо изогнутой шее как бы плыла над волнами, оставаясь почти в неподвижности, а ноги, длинющие и сухожильные, стригли воздух, неумолимо отмеряя шаги по земле. Едигей сидел между горбами прочно, удобно, уверенно. Он был доволен, что Каранар не требовал понуканий, шел, легко и чутко улавливая указания хозяина. Ордена и медали на груди Едигея слегка позванивали на ходу и отсвечивали в лучах солнца. Но это ему не мешало.

Следом за ним катился трактор «Беларусь» с прицепом. В кабине возле молодого тракториста Калибека сидел Сабитжан. Вчера он все же порядочно выпил, занимая боранлинцев всякими байками о радиоуправляемых людях и всякой другой болтовней, а теперь был подавлен и молчалив. Голова Сабитжана болталась из стороны в сторону. Едигей опасался, как бы не разбились его очки. В прицепной тележке рядом с телом Казангапа сидел, пригорюнившись, муж Айзады. Он шурился на солнце и изредка оглядывался по сторонам. Этот никчемный алкоголик на сей раз проявил себя с лучшей стороны. Ни капли не взял в рот. Старался во всем помогать, во всех делах и при выносе покойника особенно усердствовал, подставлял плечо. Когда Едигей предложил ему примоститься с ним сзади на верблюде, тот отказался. «Нет, – сказал он, – я буду сидеть рядом с тестем, сопровождать его буду от начала до конца». Это и Едигей одобрил, и все боранлинцы. И когда выезжали они с места, то больше всех и громче всех плакал именно он, сидя в прицепной тележке, придерживая войлочный сверток с телом умершего. «А что, вдруг человек возьмется за ум да бросит пить? Какое счастье было бы для Айзады и детей», – обнадежился даже Едигей.

Эту маленькую и странную процессию в безлюдной степи, возглавляемую верховым на верблюде в попоне с кистями, замыкал колесный экскаватор «Беларусь». В его кабине ехали Эдильбай и Жумагали. Черный, как негр, приземистый Жумагали сидел за рулем. Обычно он управлял этой машиной на разных путевых работах. На Боранлы-Буранном он появился сравнительно недавно, и еще трудно было сказать, надолго ли задержится здесь. Рядом с ним, возвышаясь на целую голову, ехал Длинный Эдильбай. Всю дорогу они о чем-то оживленно разговаривали.

Надо отдать должное начальнику разъезда Оспану. Это он выделил на похороны всю наличную технику, которой располагал разъезд. Правильно рассудил молодой начальник разъезда – если ехать в такую даль да еще вручную копать могилу, вряд ли они успеют обернуться к вечеру, ведь яму нужно вырыть очень глубокую и с подкопом – с боковой нишей по мусульманскому обычаю.

Поначалу Буранного Едигея это предложение несколько озадачило. Ему и в голову не приходило, чтобы вздумалось кому могилу копать не собственными руками, а с помощью экскаватора. Сидел он при этом разговоре перед Оспаном, хмурия лоб в раздумье, полный сомнений. Но Оспан нашел выход, убедил старика:

– Едике, я вам дело говорю. Чтобы вас ничего не смущало, начните вначале копать вручную. Ну, скажем, первые лопаты. А потом экскаватором в два счета. Грунт в сарозеках ссохшийся, как камень, сами знаете. Экскаватором углубитесь сколько надо, а под конец опять вручную возьметесь, отделку, так сказать, завершите. И время сэкономите, и соблюдете все правила...

И вот теперь по мере удаления в сарозеки Едигей находил совет Оспана вполне разумным и приемлемым. И даже удивлялся, как это он сам не додумался. Да, так они и поступят, Бог даст, достигнув Ана-Бейита. Так и следует – выберут на кладбище удобное место, чтобы устроить покойника головой в сторону вечной Каабы, начнут для затравки заступом да лопатами, которые они везут с собой в прицепе, а когда чуть углубятся, пустят экскаватор выбрать яму до дна, а нишу сбоку – казанак – и ложе завершат вручную. Так оно будет и быстрее и верней.

С этой целью они следовали в тот час по сарозекам, то появляясь цепочкой на гребне всхолмлений, то скрываясь в широких логах, то снова отчетливо вырисовываясь на удалении равнин, – впереди Буранный Едигей на верблюде, за ним колесный трактор с прицепом, за

прицепом, как некий жук, угластый и рукастый экскаватор «Беларусь» со скрепом бульдозерным впереди и отвернувшимся рабочим ковшом позади.

Оглядываясь последний раз на скрывшийся позади разъезд, Едигей, к своему великому изумлению, только сейчас заметил рыжего пса Жолбарса, деловито трусившего сбоку. Это когда же он успел увязаться? Вот те на! При выезде из Боранлы-Буранного его вроде бы не было. Знал бы, что он выкинет такую штуку, посадил бы на привязь. Экий хитрец! Как приметит, что Едигей на Каранаре отправляется куда-то, уж он выберет момент, примкнет в попутчики. Вот и в этот раз возник как из-под земли. Бог с ним, решил Едигей. Гнать его назад было уже поздно, да и не стоило терять время из-за собаки. Пусть себе бежит. И словно бы отгадав мысли хозяина, Жолбарс обогнал трактор и пристроился чуть спереди и сбоку Каранара. Едигей пригрозил ему кнутовищем. Но тот и ухом не повел. Поздно, мол, грозиться. Да и чем он был плох, чтобы не допускать его к такому делу. Грудастый, с лохматой могучей шеей, с обрубленными ушами и умными, спокойными глазами, рыжий пес Жолбарс по-своему был красив и примечателен.

Между тем разные мысли навещали Едигея по пути на Ана-Бейит. Поглядывая, как солнце поднималось над горизонтом, отмеряя времени течение, вспоминал он все о том же, о житье-бытье былом. Вспоминал те дни, когда они с Казангапом были молоды и в силе и являлись, если на то пошло, главными постоянными рабочими на разъезде, другие-то не очень задерживались на Боранлы-Буранном, как приходили, так и уходили. Им с Казангапом времени не хватало передохнуть, потому что, хочешь не хочешь, приходилось, ни с чем не считаясь, делать на разъезде всю работу, в какой только возникала необходимость. Теперь вслух вспоминать об этом неловко – молодые смеются: старые дураки, жизнь свою гробили. А ради чего? Да, действительно, ради чего? Значит, было ради чего.

Однажды на заносах двое суток не покладая рук бились, расчищая пути от снега. На ночь паровоз подвели с фарами, чтобы освещать местность. А снег все идет и ветер крутит. С одной стороны счищаешь, а с другой уже сугроб намело. И холодно – не то слово: лицо, руки повспухали. Залезешь в паровоз на пять минут погреться – и опять за это гиблое сарозекское дело. И самый паровоз-то уже замело по колеса с верхом. Трое из новоприбывших рабочих к ночи в тот день ушли. Обматерили сарозекскую жизнь на чем свет стоит. Мы, говорят, не арестанты, в тюрьмах и то дают время выспаться. И с тем подались, а наутро, когда пошли поезда, свистнули на прощание:

– Эй, дуrolомы, хрен вам в зубы!

Но не потому, что эти заезжие молодцы облаяли их, а так случилось, подрались они на том заносе с Казангапом. Да, было такое. Ночью стало невмоготу работать. Снег порошил, ветер со всех сторон, как злая собака, цепляется. Деться некуда от ветра. Паровоз пары пускает, а от этого только туман. И фары едва-едва тьму просвечивали. Когда те трое ушли, они с Казангапом оставались вывозить снег верблюжьей волокушей. Пара верблюдов была запряжена. Не идут, твари, им тоже холодно и тошно в этой круговерти. Снег на обочинах по грудь. Казангап тягал верблюдов за губы, чтобы они шли за ним, а Едигей на волокуше погонял сзади бичом. Так бились они до полуночи. А верблюды потом упали в снег, хоть убей, вконец выбились из сил. Что делать? Бросать придется дело, пока погода не утихнет. Стояли они возле паровоза, заслоняясь от ветра.

– Хватит, Казаке, полезем в паровоз, а там видно будет, как погода, – проговорил Едигей, хлопая одна о другую смерзшимися рукавицами.

– Погода какая была, такой и будет. Все равно наша работа – расчищать путь. Давай лопатами, не имеем права стоять.

– Да что мы, не люди?

– Не люди – волки да разное зверье – по норам сейчас попрятались.

– Ах ты гад! – взъярился Едигей. – Да тебе хоть подохни, и ты сам здесь подохнешь! – И двинул его по скуле.

Ну и схватились, поразбивали губы друг другу. Хорошо еще, кочегар выпрыгнул из паровоза, разнял вовремя.

Вот такой он был, Казангап. Теперь таких не сыщешь. Нет теперь Казангапов. Последнего везут хоронить. Осталось упрятать покойника под землю с прощальными словами над ним – и на том аминь!

Думая об этом, Буранный Едигей повторял про себя полузабытые молитвы, чтобы вывернуть заведенный порядок слов, восстановить точнее в памяти последовательность мыслей, обращенных к Богу, ибо только он один, неведомый и незримый, мог примирить в сознании человеческом непримиримость начала и конца, жизни и смерти. Для того, наверно, и сочинялись молитвы. Ведь до Бога не докричишься, не спросишь его, зачем, мол, ты так устроил, чтобы рождаться и умирать. С тем и живет человек с тех пор, как мир стоит, – не соглашаясь, примиряется. И молитвы эти неизменны от тех дней, и говорится в них все то же – чтобы не роптал понапрасну, чтобы утешился человек. Но слова эти, отшлифованные тысячами, как слитки золота, – последние из последних слов, которые обязан произнести живой над мертвым. Таков обряд.

И думалось ему еще о том, что независимо от того, есть ли Бог на свете или его вовсе нет, однако вспоминает человек о нем большей частью, когда приспичит, хотя и негоже так поступать. Оттого, наверно, и сказано – неверующий не вспомнит о Боге, пока голова не заболит. Так оно или не так, но молитвы все-таки знать надо.

Глядя на своих молодых попутчиков на тракторах, Буранный Едигей искренне сокрушался и сожалел – никто из них не знал никаких молитв. Как же они будут хоронить друг друга? Какими словами заключат они уход человека в небытие? «Прощай, товарищ, будем помнить»? Или еще какую-нибудь ерунду?

Как-то раз довелось ему присутствовать на похоронах в областном городе. Диву дался Буранный Едигей – на кладбище все равно что на собрании каком: перед покойником в гробу выступали по бумагам ораторы и говорили все об одном и том же – кем он работал, на каких должностях и как работал, кому служил и как служил, а потом сыграли музыку и могилу заваляли цветами. И ни один из них не удосужился сказать нечто о смерти, как сказано то в молитвах, венчающих познания людей от века в той чередности бытия и небытия, как будто бы до этого никто не умирал на свете и после того как будто никто не должен был умереть. Несчастные, они были бессмертны! Так и заявляли вопреки очевидному: «Он ушел в бессмертие!»

Едигей хорошо знал местность. К тому же с высоты Буранного Каранара ему, седоку, все было видно впереди на далекое расстояние. Он старался держать путь по сарозекам на Ана-Бейит как можно прямее, допуская отклонения лишь с тем, чтобы тракторам удобнее было миновать рытвины.

И все шло, как было задумано. Ни скоро, ни тихо, но они преодолели уже треть пути... Буранный Каранар рысил неутомимым тротом, чутко улавливая повеления хозяина. За ним следовал, тарахтя, трактор с прицепом, и за прицепом шел колесный экскаватор «Беларусь».

И, однако же, впереди их ждали непредвиденные обстоятельства, которые, как бы невероятно то ни звучало, имели некую внутреннюю связь с делами, происходящими на космодроме Сары-Озек...

Авианосец «Конвенция» находился в тот час на своем месте, в том же районе Тихого океана, южнее Алеутов, на строго одинаковом по воздуху расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско.

Погода на океане не изменилась. В течение первой половины дня все так же ослепительно сияло солнце над бесконечно мерцающим простором воды. Ничто на горизонте не предвещало каких-либо атмосферных изменений.

На самом же авианосце все службы находились в напряжении – в полной рабочей готовности, включая авиакрыло и группу внутренней безопасности, хотя никаких конкретных причин для этого в реальном окружении не было. Причины были за пределами космоса.

Поступившие на борт «Конвенции» через орбиту «Трамплин» сообщения от паритет-космонавтов с планеты Лесная Грудь привели руководителей Обценупра и членов особоуполномоченных комиссий в полное смятение. Замешательство было настолько сильным, что обе стороны решили вначале провести отдельные совещания, чтобы обсудить создавшееся положение, прежде всего исходя из собственных интересов и позиций, и лишь затем только собраться для общих суждений.

Мир еще не знал о беспрецедентном в истории человечества открытии – о существовании внеземной цивилизации на планете Лесная Грудь. Даже правительства сторон, поставленные в известность в строго секретном порядке о самом происшествии, не имели пока сведений о дальнейшем развитии событий. Ждали согласованную точку зрения компетентных комиссий. На всей территории авианосца был установлен строгий режим – никто, включая авиакрыло, не имел права покидать свое место. Никто ни под каким предлогом не имел права покидать судно, и ни одно другое судно не могло приблизиться к «Конвенции» в радиусе пятидесяти километров. Самолеты, пролетавшие в этом районе, изменяли курс, чтобы не подойти ближе чем на триста километров к месту нахождения авианосца.

Итак, общее заседание сторон было прервано, и каждая комиссия совместно со своими руководителями программы «Демидург» обсуждала донесения паритет-космонавтов 1-2 и 2-1, переданные ими с неизвестной науке планеты Лесная Грудь.

Слова их прибыли из невысказанной астрономической дали:

«Слушайте, слушайте!

Мы ведем трансгалактическую передачу для Земли!

Невозможно объяснить все то, что не имеет земного названия. Однако много общего.

Они человекоподобные существа, такие же люди, как мы! Ура мировой эволюции! И здесь эволюция отработала модель гоминида по универсальному принципу! Это прекрасные типы гоминидов-инопланетян! Смуглая кожа, голубоволосые, сиренево- и зеленоглазые, с белыми пушистыми ресницами.

Мы увидели их в абсолютно прозрачных скафандрах, когда они примкнули к нашей орбитальной станции. Они улыбались с кормы корабля, приглашая нас к себе.

И мы перешагнули из одной цивилизации в другую.

Винтовой летательный аппарат отчалил, и со скоростью света, которая фактически никак не ощущалась внутри корабля, мы двинулись, преодолевая поток времени, во Вселенную. Первое, на что мы обратили внимание и что принесло нам неожиданное облегчение, это отсутствие состояния невесомости. Каким образом это достигнуто, мы пока не можем объяснить. Мешая русские и английские слова, они произнесли первую фразу: «Вел ком наш Звезда!» И тогда мы поняли, что при проявлении известной чуткости сможем обмениваться мыслями. Эти голубоволосые существа высокого роста, около двух метров, – их было пятеро: четверо мужчин и женщина. Женщина отличалась не ростом, а чисто женскими формами и более светлой кожей. Все голубоволосые лесногрудцы достаточно смуглы, наподобие наших северных арабов. С первых минут мы почувствовали к ним доверие.

Трое из них – пилоты летательного аппарата, а один мужчина и женщина – знатоки земных языков. Это они впервые изучили и систематизировали путем радиоперехвата в космосе английские и русские слова и составили земной словник. К моменту нашей встречи они освоили значение свыше двух с половиной тысяч слов и терминов. С помощью этого лингвистиче-

ского запаса и началось наше общение. Сами они говорят на языке, разумеется, для нас совершенно непонятном, но по звучанию напоминающем испанский.

Через одиннадцать часов после отлета от «Паритета» мы вышли за пределы Солнечной системы.

Этот переход из нашей звездной системы в другую совершился неприметно, ничем особенным не отличаясь. Материя Вселенной всюду одинакова. Но впереди по курсу (видимо, таково было в тот момент расположение и состояние иносистемных тел) постепенно высветлялось алеющее зарево. Это зарево разрасталось, раздвигалось вдали в безграничное световое пространство. Тем временем мы миновали по пути несколько планет, затемненных в тот час с одной стороны и освещенных с другой. Множество солнц и лун проносилось в обозримых пространствах.

Мы как бы выносились из ночи в день. И вдруг – влетели в ослепительно чистый и безбрежный свет, исходящий от великого и могучего Солнца в неведомом доселе небе.

– Мы в нашей Галактике! Вот светит наш Держатель! Скоро покажется наша Лесная Грудь! – объявила женщина-лингвист.

И действительно, в неизмеримой высоте нового космического пространства мы увидели новое для нас Солнце, именуемое Держателем. По интенсивности излучения и величине своей Держатель превосходил наше Солнце. Кстати, именно этим свойством здешнего светила и тем, что сутки на планете Лесная Грудь составляют двадцать восемь часов, мы склонны объяснить целый ряд геобиологических отличий здешнего мира от нашего.

Но обо всем этом мы попытаемся сообщить в следующий раз или по возвращении на «Паритет», а сейчас лишь мимоходом несколько важных сведений. Планета Лесная Грудь с высоты напоминает нашу Землю, окружена такими же атмосферными облаками. Но вблизи, на расстоянии пяти-шести тысяч метров от поверхности, – лесногрудцы совершили для нас специальный обзорный полет – это зрелище невиданной красоты: горы, хребты, холмы сплошь в ярко-зеленом покрове, между ними реки, моря и озера, а в некоторых частях планеты, больше в окраинных, полюсных, – огромные пятна безжизненных пустынь, там стоят пыльные бури. Но самое большое впечатление произвели на нас города и поселения. Эти острова конструкторских сооружений среди лесногрудского ландшафта свидетельствуют об исключительно высоком уровне урбанизации. Даже Манхэттен не может идти ни в какое сравнение с тем, что является собой градостроительство голубоволосых обитателей этой планеты.

Сами лесногрудцы, на наш взгляд, представляют собой особый феномен разумных существ во Вселенной. Период беременности – одиннадцать лесногрудских месяцев. Продолжительность жизни велика, хотя сами они считают главной проблемой общества и смыслом существования удлинение жизни. Они живут в среднем сто тридцать – сто пятьдесят лет, а кое-кто доживает и до двухсот лет. Население планеты – свыше десяти миллиардов жителей.

Мы сейчас не в состоянии сколько-нибудь систематизированно изложить все, что касается образа жизни голубоволосых и достижений данной цивилизации. Поэтому фрагментарно сообщаем о том, что больше всего поразило нас в этом мире.

Они умеют добывать энергию – солнечную, или, вернее, держательную, – преобразуя ее в тепловую и электрическую с высоким коэффициентом полезного действия, превышающим наши гидротехнические способы, а также, что исключительно важно, они синтезируют энергию из разности дневных и ночных температур воздуха.

Они научились управлять климатом. Когда мы совершали обзорный полет над планетой, летательный аппарат путем излучений рассеивал мгновенно облака и туман в местах их скопления. Нам стало известно, что они способны влиять на движение воздушных масс и водных течений в морях и океанах. Тем самым они регулируют процесс увлажнения и температурный режим на поверхности планеты, более того – они научились управлять гравитацией, и это помогает в межзвездных полетах.

Однако перед ними стоит колоссальная проблема, с которой, насколько нам известно, мы еще не сталкивались на Земле. Они не страдают от засухи, ибо способны управлять климатом. Они пока не знают дефицита в производстве продуктов питания. Это при таком-то огромном количестве населения, в два с лишним раза превышающем людской род на Земле. Но значительная часть планеты постепенно становится непригодной для жизни. В таких местах вымирает все живое. Это явление так называемого внутреннего высыхания. При нашем обзорном полете мы видели пыльные бури в юго-восточной части Лесногрудии. В результате каких-то грозных реакций в недрах планеты – возможно, это сродни нашим вулканическим процессам, но только это, пожалуй, какая-то форма медленного рассеянного лучевого извержения, – поверхностный грунт разрушается, теряет свою структуру, в нем выгорают все почвообразующие вещества. В этой части Лесногрудии пустыня величиной с Сахару с каждым годом шаг за шагом наступает на жизненное пространство голубоволосых инопланетян. Для них это самое большое бедствие. Они еще не научились управлять процессами, происходящими в глубинах планеты. На борьбу с этим грозным явлением внутреннего иссыхания брошены лучшие силы, огромные научные и материальные средства. У них нет Луны в их звездной системе, но они знают о нашей Луне и уже посещали ее. Они предполагают, что наша Луна претерпела, возможно, нечто подобное. Узнав об этом, мы несколько призадумались – от Луны ведь не так далеко до Земли. Готовы ли мы к этой встрече? И каковы могут быть последствия как внешнего, так и внутреннего характера? Не подумают ли люди, что они многое потеряли в своем интеллектуальном развитии из-за вечных неувязок на Земле?

В настоящее время в научных кругах Лесногрудии ведется общепланетная дискуссия – следует ли наращивать усилия в попытках разгадать тайну внутреннего иссыхания и искать способы приостановки этой потенциальной катастрофы или же следует заблаговременно найти во Вселенной новую планету, отвечающую их жизненным потребностям, и начать со временем массовое переселение на новое местообитание с целью перенесения и возрождения лесногрудской цивилизации. Пока еще не ясно, куда, к какой новой планете устремлены их взоры. Во всяком случае, на нынешней планете им еще жить да жить миллионы и миллионы лет, однако поразительно, что они уже теперь думают о столь далеко отстоящем будущем и охвачены таким пылом и деятельностью, точно эта проблема непосредственно касается ныне живущего народонаселения. Неужто ни в одной голове не мелькнула подленькая мысль: «А после нас хоть трава не расти»?! Нам стало стыдно, что мы сами подумали об этом нечто подобное, когда узнали, что значительная часть общепланетного валового продукта идет на программу предотвращения внутреннего иссыхания недр. Они пытаются установить барьер на протяжении многих тысяч километров – по всей границе тихо наползающей пустыни – путем бурения сверхглубинных скважин, вгоняют в недра такие нейтрализующие долговременные вещества, которые, как полагают они, будут иметь нужное влияние на внутриядерные реакции планеты.

Разумеется, у них есть и должны быть проблемы общественного бытия, то, чем извечно мучается разум, неся свой тяжкий крест, – проблемы нравственного, морального, интеллектуального порядка. Вполне очевидно, не так просто протекает общежитие десяти с лишним миллиардов жителей, какого бы благоденствия они ни достигли. Но что самое удивительное при этом – они не знают государства как такового, не знают оружия, не знают, что такое война. Мы затрудняемся сказать – возможно, в историческом прошлом были у них и войны, и государства, и деньги, и все сопутствующие тому категории общественных отношений, однако на данном этапе они не имеют представления о таких институтах насилия, как государство, и таких форм борьбы, как война. Если придется объяснять суть наших бесконечных на Земле войн, не покажется ли им это бессмысленным или, более того, варварским способом решения вопросов?

Вся их жизнь организована на совершенно иных началах, не совсем понятных и не совсем доступных нам в силу нашего земного стереотипа мышления.

Они достигли такого уровня коллективного планетарного сознания, категорически исключая войну в качестве способа борьбы, что остается только предполагать, что, по всей вероятности, эта форма цивилизации есть наиболее передовая в пределах всего мыслимого пространства во вселенской среде. Возможно, они достигли той степени научного развития, когда гуманизация времени и пространства становится главным смыслом жизнедеятельности разумных существ и тем самым продолжением эволюции мира в ее новой, высшей, бесконечной фазе.

Мы не собираемся сопоставлять несопоставимые вещи. Со временем и на нашей Земле люди придут к столь великому прогрессу, и нам есть чем гордиться уже и сейчас, и все-таки нас не покидает угнетающая мысль: а что, если человечество на Земле пребывает в трагическом заблуждении, уверяя себя, что якобы история – это есть история войн? А что, если этот путь развития был изначально ошибочным, тупиковым? В таком случае куда мы идем и к чему это приведет нас? И если это так, то успеет ли человечество найти в себе мужество признаться в этом и избежать тотального катаклизма? Оказавшись волею судеб первыми свидетелями внеземной общественной жизни, мы испытываем сложные чувства – страх за будущность землян и надежду, поскольку есть в мире пример великого общежития, поступательное движение которого лежит вне тех форм противоречий, которые разрешаются войнами...

Лесногрудцы знают о существовании Земли в сверхдалеких для них пределах мироздания. Они полны желанием вступить в контакт с землянами не только из естественной любознательности, но, как полагают они, прежде всего ради торжества самого феномена разума, ради обмена опытом цивилизации, ради новой эры в развитии мысли и духа вселенских носителей интеллекта.

Во всем этом они предвидят гораздо большее, чем можно бы подумать. Их интерес к землянам продиктован еще и тем, что в объединении общих усилий этих двух ветвей мирового разума они видят основной путь обеспечения беспредельной продолжительности жизни в природе, имея в виду то, что всякая энергия неминуемо деградирует и любая планета со временем обречена на гибель... Они озабочены проблемой «конца света» на миллиарды лет вперед и уже сейчас разрабатывают космологические проекты организации новой базы обитания для всего живого во Вселенной...

Располагая летательными аппаратами со световой скоростью, они могли бы уже сейчас посетить нашу Землю. Но они не желают делать этого без согласия и приглашения самих землян. Они не желают вторгаться на Землю незваными гостями. При этом они дали понять, что давно искали повод для знакомства. С тех пор как наши космические станции превратились в долговременно пребывающие объекты на орбитах, им стало ясно, что приближается пора встречи и что им следует проявить инициативу. Они тщательно готовились, ждали удобного случая. Этот случай выпал на нашу долю, поскольку мы оказались в промежуточной среде – на орбитальной станции...

Наше пребывание на их планете произвело, вполне понятно, невероятную сенсацию. В связи с этим была включена в эфир система глобального телеконтактирования, применяемая лишь по великим праздникам. В светящемся вокруг нас воздухе мы как наяву видели рядом с собой лица и предметы, находящиеся на расстоянии тысяч и тысяч километров, и одновременно мы могли взаимообщаться – смотреть друг другу в лицо, улыбаться, пожимать руки, разговаривать, радостно, бурно восклицая и смеясь, точно бы это происходило в непосредственном контакте. Какие они красивые, лесногрудцы, и какие все разные, даже цвет голубых волос варьируется от темно-синего до ультрамаринового, а старики седеют, оказывается, так же, как и наши. И типы антропологические тоже разные, ибо они представляют разные этнические группы.

Обо всем этом и о многом другом не менее поразительном мы расскажем по возвращении на «Паритет» или на Землю. А сейчас о самом главном. Лесногрудцы просят нас передать через

систему связи «Паритета» их желание посетить нашу планету тогда, когда это будет удобно землянам. А до этого они предлагают согласовать программу устройства промежуточной межзвездной станции, которая вначале послужила бы местом первых предварительных встреч, а в дальнейшем стала бы постоянной базой на пути взаимных следований. Мы обещали довести до сведения своих соплемян эти предложения. Однако нас больше волнует в этой связи другое.

Готовы ли мы, земляне, к подобного рода межпланетным встречам, достаточно ли мы зрелы для этого как мыслящие существа? Сможем ли мы при нашей разобщенности и существующих противоречиях выступить в единстве нашем, как бы уполномочивая самих себя от имени всего человеческого рода, от имени всей Земли? Мы умоляем вас во избежание новой вспышки соперничества, борьбы за ложный приоритет передать решение этого вопроса только в ООН. Мы просим при этом не злоупотреблять правом вето, а возможно, на сей раз, как исключение, аннулировать такое право. Нам горько и тяжело думать о таких вещах, находясь в запредельной космической дали, но мы земляне, и мы достаточно хорошо знаем нравы обитателей нашей планеты Земля.

Наконец, о себе, еще раз о нашем поступке. Мы сознаем, какое недоумение и какие вслед за этим экстренные меры породило наше исчезновение с орбитальной станции. Мы глубоко сожалеем, что причинили столько тревог. Однако это был тот уникальный случай в мировой практике, когда мы не могли, не имели права отказаться от самого великого дела своей жизни. Будучи людьми строгого регламента, мы обязаны были ради такой цели поступить вопреки регламенту.

Пусть это будет на нашей совести, и пусть мы понесем должное наказание. Но забудьте пока об этом. Внемлите! Мы передали сигнал из Вселенной. Мы подаем вам знак из неизвестной доселе галактической системы – светила Держателя. Голубоволосые лесногрудцы – творцы высочайшей современной цивилизации. Встреча с ними может явить глобальную перемену во всей нашей жизни, в судьбах всего человеческого рода. Отважимся ли мы на это, соблюдая прежде всего, естественно, интересы Земли?..

Инопланетяне нам ничем не угрожают. По крайней мере, так нам кажется. Но, переняв их опыт, мы могли бы произвести переворот в нашем бытии, начиная со способа добычи энергии из материального окружения мира и до умения жить без оружия, без насилия, без войн. Последнее покажется вам дикостью даже на слух, но мы торжественно удостоверяем, что именно так устроена жизнь разумных существ на Лесногрудской планете, что именно такого сокровенного совершенства достигли они, населяя такую же по массе геобиологическую обитель, как и Земля. Будучи носителями вселенского, высокоцивилизованного образа мышления, они готовы на открытые контакты со своими братьями по разуму, с землянами, в таких формах, как это будет отвечать потребностям и достоинству обеих сторон.

Увлеченные, потрясенные открытием внеземной цивилизации, мы, однако, жаждем поскорее вернуться, чтобы поведать людям обо всем том, чему мы явились свидетелями, оказавшись в запредельной Галактике, на одной из планет системы светила Держатель.

Мы намерены через двадцать восемь часов, то есть ровно через сутки после данного сеанса радиосвязи, вылететь в обратный путь на наш «Паритет». Прибыв на «Паритет», мы предоставим себя в полное распоряжение Обценупра.

А пока до свидания. Перед вылетом к Солнечной системе мы известим о времени нашего прибытия на «Паритет».

На этом заканчиваем свое первое сообщение с планеты Лесная Грудь. До скорой встречи. Очень просим передать нашим семьям, чтобы они не волновались...

Паритет-космонавт 1-2.

Паритет-космонавт 2-1».

Раздельное заседание особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по расследованию чрезвычайного происшествия на орбитальной станции «Паритет» закончилось тем, что обе комиссии в полных составах вылетели на консультации с вышестоящими инстанциями. Один самолет, взлетев с палубы авианосца, взял курс на Сан-Франциско, другой через несколько минут в противоположную сторону – на Владивосток.

Авианосец «Конвенция» находился все там же, в районе своего постоянного местопребывания – в Тихом океане, южнее Алеутов... На авианосце царил строгий порядок. Каждый был при своем деле, каждый начеку... И все хранили молчание...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства – Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

Уже пройдена треть пути на Ана-Бейит. Солнце, быстро поднявшись вначале над землей, теперь вроде застыло на одной точке над сарозеками. Значит, день стал днем. Стало по-дневному припекать.

Поглядывая то на часы, то на солнце, то на лежащие впереди открытые степные доли, Буранный Едигей полагал, что пока все идет как надо. Он все так же трусил впереди на верблюде, за ним шел трактор с прицепом и за прицепом колесный экскаватор «Беларусь», а рыжий пес Жолбарс бежал чуть сбоку.

«Оказывается, голова человека ни секунды не может не думать. Вот ведь как устроена эта дурацкая штука – хочешь ты или не хочешь, а все равно мысль появляется из мысли, и так без конца, наверное, пока не помрешь!» Это насмешливое открытие Едигей сделал, поймав себя на том, что все время беспрестанно о чем-то думает в пути. Думы следовали за думами, как волна за волной в море. В детстве он часами наблюдал, как на Аральском море в ветреную погоду возникали вдали белые бегущие буруны и как они приближались вскипающими гривами, рождая волну из волны. В том движении происходило одновременно рождение, разрушение и снова рождение и угасание живой плоти моря. И тогда хотелось ему, мальчишке, превратиться в чайку и летать над волнами, над сверкающими брызгами, чтобы видеть сверху, как живет великая вода.

Предосенние сарозеки с их пронзительной, грустной открытостью, мерный топот рыскающего верблюда настраивали Буранного Едигея на дорожные раздумья, и он предавался им не противясь, благо впереди путь был длинный и ничто не нарушало их продвижения. Каранар, как всегда на больших расстояниях, разогревался при ходьбе, и от него начал исходить крепкий мускусный дух. Дух этот шибал в нос от верблюжьего загривка и шеи. «Ну-ну, – удовлетворенно усмехался про себя Едигей, – значит, ты уже весь в мыле! И промеж ног в мыле! Ух ты зверюга, жеребчина эдакий! Дурной ты, дурной!»

Думалось Едигею и о прошлых днях, о делах и событиях, когда Казангап был еще в силе и здравии, и в той цепи воспоминаний нагрянула на него некстати давнишняя горькая тоска. И молитвы не помогли. Он нашептывал их вслух снова и снова, повторяя, чтобы отогнать, отвлечь, упрятать вернувшуюся боль. Но душа не унималась. Помрачнел Буранный Едигей, без надобности приударяя то и дело по бокам усердно трусившего верблюда, козырек надвинул на глаза и уже не оборачивался к следующим за ним тракторам. Пусть едут следом, не отстают, какое дело им, молодым, зеленым, до той давней истории, о которой даже с женой они не обмолвились ни словом, но которую рассудил Казангап, как всегда, мудро и честно. Только он и мог рассудить, а не то бы давно уже Едигей бросил этот разъезд Боранлы-Буранный...

В году том, пятьдесят первом, уже в самом конце, зимой, прибыла на разъезд семья. Муж, жена и двое детей – мальчуганы. Старшему, Даулу, лет пять, а младшему три года. Младшего звали Эрмек. А сам Абуталип Куттыбаев был ровесник Едигею. Он еще до войны, молодым

парнем, год учительствовал в аульной школе, а летом в сорок первом в первые же дни его мобилизовали на фронт. С Зарипой они поженились, выходит, уже в конце войны или сразу после этого. Она тоже до их переезда была учительницей младших классов. А вот судьба пригнала, притолкала их в сарозеки, на Боранлы-Буранный.

То, что они не от хорошей жизни очутились в сарозекской глухомани, стало ясно сразу. Абуталип и Зарипа могли бы вполне устроиться на работу и в других местах. Но, как видно, обстоятельства сложились так, что другого выхода у них не было. Поначалу боранлинцы думали, что долго они тут не задержатся, не выдержат, сбегут куда глаза глядят. Не такие прибывали и убывали из Боранлы-Буранного. Этого мнения придерживались и он, Едигей, и Казангап. Однако отношение к семье Абуталипа установилось тем не менее сразу уважительное. Порядочные, культурные люди. Бедствующие. Работали как и все – и муж и жена. И шпалы таскали на горбу, и на заносах стыли. В общем, что положено путевым рабочим, то и делали. И, надо сказать, хорошая, ладная, дружная семья была, хотя и несчастная по причине того, что Абуталип, оказывается, был в плену у немцев. К тому времени схлынули вроде уже страсти военных лет. К бывшим военнопленным уже не относились как к предателям и врагам. Что до боранлинцев, то они не стали себе голову ломать. Ну был человек в плену так был, война закончилась победой, и чего только людям не приходилось хлебнуть в этой страшной мировой переделке. Иные вон по сей день мыкаются по свету как неприкаянные. Призрак войны все еще шагает по пятам... И потому боранлинцы расспросами по такому поводу особенно не донимали приезжих, зачем душу людям травить, и без того хлебнули, должно быть, горя через край.

А со временем получилось так, что как-то незаметно сдружились они с Абуталипом. Умный он был человек. Едигея привлекало в нем то, что Абуталип в своем плачевном положении не был жалок. Держался достойно и понапрасну не сетовал на судьбу. Он не мог не считаться с тем, что есть на свете. Понял, очевидно, человек, что это судьба, выпавшая ему на долю. Жена его Зарипа, должно быть, тоже прониклась этим сознанием. Примирившись внутренне с неизбежностью расплаты, они находили смысл жизни в какой-то необычной чуткости, близости друг другу. Как понял потом Едигей, этим они жили, этим они защищались, взаимно заслоня друг друга и детей от свирепых ветров времени. Особенно Абуталип. Он и дня не мог прожить вне своей семьи. Дети, сыновья, – для него это было все. Каждую свободную минуту Абуталип занимался с ними. Он учил их грамоте, сочинял разные сказки, загадки, устраивал какие-то придуманные им игры. Когда они с женой уходили на работу, детишек поначалу оставляли одних в бараке. Но Укубала не смогла на это спокойно смотреть, стала уводить мальчиков к себе. В доме у них было теплее, и быт у них к тому времени сложился гораздо удобней, чем у новоприезжих. Это-то и сблизило их семьи. Ведь у Едигея в те годы тоже подрастали дети, две девчужки, как раз одногодки с абуталиповскими ребятами.

Зайдя как-то за своими малышами после работы на перегоне, Абуталип предложил:

– Вот что, Едигей, давай я заодно и твоих девочек буду учить. Я ведь не от нечего делать вожусь с ребятами с этих пор. Они сдружились, вместе играют. Днем у вас, а по вечерам пусть у нас. А почему я говорю так? Жизнь здесь, на отшибе, конечно, скудная, так тем более надо заниматься с ними. Времена наступают такие, что знания потребуются сызмальства. Теперешний вот такой человечек с ноготок должен знать столько, сколько прежде здоровенный парень. А иначе к образованию и не пробьешься.

И опять же смысл тех стараний Абуталипа Буранный Едигей постиг позднее, когда случилась беда. Тогда он понял, что в положении Абуталипа это было единственное, что он мог предпринять собственными усилиями для своих детей в боранлинских условиях. Он как знал, он спешил дать им от себя как можно больше, он как бы хотел таким образом запечатлеться в их памяти, жить заново в своих детях. Вечерами, когда Абуталип приходил с работы, он и Зарипа устраивали нечто вроде школы-детсада для своих и Едигеевых детей. Дети учились буквам, слогам, играли, рисовали, соревнуясь, у кого лучше получится, слушали книги, которые

читали им родители и даже все вместе разучивали разные песенки. Это оказалось настолько интересным занятием, что и сам Едигей стал захаживать и наблюдать, как все это у них здорово выходило. И Укубала забегала частенько вроде как по делу, а в действительности чтобы взглянуть на своих девочек. Умилялся Буранный Едигей. Душа его умилялась. Вот что значит образованные люди, учителя! Любо смотреть, как они умеют обращаться с детьми, как они сами умеют быть детьми, оставаясь взрослыми. В такие вечера Едигей старался не мешать, тихо сидел в сторонке. А когда приходил, то с порога снимал шапку:

– Добрый вечер! Вот и пятый ученик ваш заявился в детсад.

И дети привыкли к его посещениям. Дочурки его были счастливы. При отце они очень старались. Едигей с Укубалой поочередно топили им печь, чтобы по вечерам в бараке было теплей и уютней для детворы.

Вот такая семья приютилась в том году на Боранлы-Буранном. Но что странно – таким людям обычно не везет.

Беда Абуталипа Куттыбаева заключалась в том, что он побывал не только в немецком плену, но, на счастье или несчастье свое, совершив побег вместе с группой военнопленных из концлагеря в Южной Баварии, оказался в сорок третьем году в рядах югославских партизан. В югославской освободительной армии Абуталип провоевал до конца войны. Там его ранили, там вылечили. Был награжден югославскими боевыми орденами. Писали о нем в партизанских газетах, помещали фотографии. Это очень помогло, когда стали разбираться с его делом в проверочно-фильтрационной комиссии по возвращении на родину в сорок пятом году. В живых их осталось из тех, что бежали из концлагеря, четверо, а было двенадцать. Всем четверым повезло еще в том смысле, что советская проверочная комиссия прибыла непосредственно в расположение подразделений освободительной армии Югославии и югославские командиры дали письменные отзывы о боевых и моральных качествах бывших советских военнопленных, об участии их в партизанской борьбе с фашистами.

В общем, месяца через два после многочисленных проверок, опросов, очных ставок, ожиданий, надежд и отчаяния Абуталип Куттыбаев вернулся в свой Казахстан без поражения прав, но и без тех привилегий, какие полагались демобилизованным. Абуталип Куттыбаев не был в обиде. Будучи до войны учителем географии, он снова вернулся к своей работе. И здесь в одной райцентровской школе встретил молодую учительницу начальных классов Зарипу. Бывают такие случаи обоюдного счастья, редко, но бывают. Не без этого в жизни.

А тем временем отшумели в мире первые победные годы. Вслед за триумфом и ликованиями в воздухе замелькали первые снежинки «холодной войны». А потом покрепчало. И сжались пружины послевоенного сознания в разных частях света, в разных болевых точках...

На одном из уроков географии эта пружина сработала. Рано или поздно, так или иначе, здесь или в другом месте, но это должно было случиться. Не с ним, так с кем-то другим, ему подобным.

Рассказывая ученикам восьмого класса о европейской части света, Абуталип Куттыбаев упомянул о том, как однажды вывезли их из концлагеря в Южно-Баварские Альпы на каменистых склонах и как оттуда им удалось, разоружив охрану, бежать к югославским партизанам, рассказал, что он прошел пол-Европы во время войны, бывал на берегах Адриатического и Средиземного морей, хорошо знаком с той природой, с жизнью местного населения и что все это в учебнике невозможно описать. Учитель считал, что тем самым обогащает предмет живыми наблюдениями очевидца.

Его указка ходила по сине-зелено-коричневой географической карте Европы, вывешенной на школьной доске, его указка прослеживала возвышенности, равнины, реки, касаясь то и дело тех мест, которые снились ему и поныне ночами, где шли бои изо дня в день, многие лета и зимы, и, возможно, указка коснулась той неразличимой точки, где пролилась его кровь, когда сбоку полоснула неожиданно очередь вражеского автомата, и он медленно покатился по

склону, обагрив кровью траву и камни, та алая кровь могла бы залить всю учебную карту, и ему даже примерещилось на мгновение, как растекается по карте та алая кровь, как закружилась тогда голова и потемнело, поплыло в глазах, как, опрокидываясь, падали горы и он закричал, призывая на помощь друга-поляка, вместе бежавшего прошлым летом из баварских каменноломен: «Казимир! Казимир!» Но тот его не слышал, потому что ему только казалось, что он кричит изо всех сил, а на самом деле он не проронил ни звука и пришел в себя лишь в партизанском госпитале после переливания крови.

Рассказывая ученикам о европейской части света, Абуталип Куттыбаев удивлялся себе, тому, что может после всего пережитого так деловито, так отстраненно говорить лишь о том, что имеет отношение к элементарной школьной географии.

И тут резко поднятая рука на передней парте прервала его речь:

– Агай¹⁰, значит, вы были в плену?

На него смотрели с холодной ясностью жесткие глаза. Лицо подростка было слегка запрокинуто, он стоял по стойке «смирно», и на всю жизнь запомнились почему-то его зубы, у него был обратный прикус – нижний ряд зубов перекрывал, выступая, верхний ряд.

– Да, а что?

– А почему вы не застрелились?

– А почему нужно было убить себя? Я и так был ранен.

– А потому, что недопустимо сдаваться во вражеский плен, есть такой приказ!

– Чей приказ?

– Приказ свыше.

– Откуда это тебе известно?

– Я все знаю. У нас бывают люди из Алма-Аты, из Москвы даже приезжали. Значит, вы не выполнили приказ свыше?

– А твой отец был на войне?

– Нет, он занимался мобилизацией.

– Тогда нам с тобой трудно объясниться. Могу лишь сказать, что другого выхода у меня не было.

– Все равно вы должны были выполнить приказ.

– А ты чего придираешься? – С места поднялся другой ученик. – Наш учитель сражался вместе с югославскими партизанами. Чего тебе надо?

– Все равно он должен был выполнить приказ свыше! – категорически утверждал тот.

И тут класс загудел, лопнула гробовая тишина: «Должен был!», «Не должен!», «Мог!», «Не мог!», «Правильно!», «Неправильно!». Учитель грохнул кулаком о стол:

– Прекратите разговоры! Идет урок географии! Как я воевал и что со мной было, это знают кому положено и где нужно. А сейчас вернемся к нашей карте!

И опять никто из класса не увидел ту трудноразличимую точку на карте, откуда снова полоснула сбоку автоматная очередь, и стоящий с указкой у доски учитель медленно покотился по склону, заливая своей кровью сине-зелено-коричневую карту Европы...

Через несколько дней его вызвали в районо. Там Куттыбаеву без лишних слов предложили подать заявление об увольнении с работы по собственному желанию: бывший военнопленный не имел морального права учить подрастающее поколение.

Пришлось Абуталипу Куттыбаеву с Зарипой и с первенцем Даулом перебираться в другой район, подальше от областного центра. Устроились в аульной школе. Вроде прижились, с жильем уладилось. Зарипа, молодая способная учительница, стала завучем. Но тут разразились события сорок восьмого года, связанные с Югославией. Теперь на Абуталипа Куттыбаева смотрели не только как на бывшего военнопленного, но и как на сомнительную личность, дол-

¹⁰ Агай – учитель.

гое время пребывавшую за границей. И хотя он доказывал, что только партизанил с югославскими товарищами, это не принималось во внимание. Все понимали и даже сочувствовали, но никто не смел брать на себя какую-либо в этом смысле ответственность. Снова вызвали в районо, и опять повторилась история с заявлением об увольнении по собственному желанию...

Переезжая еще много раз с места на место, семья Абуталипа Куттыбаева в конце пятидесяти первого года, среди зимы, очутилась в сарозеках, на разъезде Боранлы-Буранный...

В пятидесят втором году лето выдалось знойное сверх обычного. Земля иссохла, прокалилась до такой степени, что сарозекские ящерицы и те не знали, куда себя деть, прибежали, не боясь людей, на порог с отчаянно колотящимися глотками и с широко раскрытыми ртами – лишь бы куда-нибудь скрыться от солнца. А коршуны в поисках прохлады забирались невзвезд в какую высь – их невозможно было разглядеть простым глазом. Лишь время от времени они давали знать о себе резкими одинокими выкриками и надолго умолкали затем в горячем, зыблящемся мареве.

Но служба оставалась службой. Поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Сколько поездов разминулось на Боранлы-Буранном. Никакая жара не могла повлиять на движение транспорта по великой государственной магистрали.

И все шло своим чередом. Работать на путях приходилось в рукавицах, голыми руками не притронуться было ни к камню, ни тем паче к железу. Солнце стояло над головой жаровней. Воду, как всегда, доставляли в цистерне, и пока она прибывала на разъезд, становилась почти кипяченой. Одежда сгорала на плечах за пару дней. Зимой в самые лютые морозы человеку в сарозеках было, пожалуй, легче, чем в такую жару.

Буранный Едигей старался в те дни приободрить Абуталипа.

– Не всегда у нас такое лето. Просто год такой нынешний, – оправдывался он, точно сам был в том повинен. – Еще дней пятнадцать, двадцать от силы, – и полегчает, спадет жара. Будь она проклята, замучила всех. А бывает у нас тут, в сарозеках, к концу лета перелом, враз меняется погода. И тогда всю осень вплоть до самой зимы благодать – прохлада стоит, скот тело набирает. Сдается мне – на то приметы есть, – в этом году будет такой оборот. Так что потерпите, осень будет хорошая.

– Значит, гарантируешь? – понимающе улыбался Абуталип.

– Можно сказать, почти.

– И на том спасибо. Вот я сию сейчас как в бане. Но душа у меня не по себе болит. Мы с Зарипой выдержим. Не такое приходилось терпеть. Детей жалко. Смотреть не могу...

Дети боранлинцев изнывали, томились, с лица спали, и некуда их было упрятать от духоты и изнуряющего зноя. И ни единого деревца вокруг, ни ручейка, так потребных детскому миру. Весной, когда сарозеки ожили и ненадолго зазеленели окрест лога и привалки, то-то было раздолье детворе. Играли в мяч, в прятки, убегали в степь, гонялись за сусликами. Любо было слышать их далеко разносящиеся голоса.

Лето сокрушило все. И ребят непоседливых сморила непомерная жара. От нее они прятались в тени под стенами домов, выглядывая оттуда, только когда проходили поезда. Это было их развлечением – подсчитывали, сколько поездов прошло в одну сторону и сколько в другую, сколько из них пассажирских вагонов и сколько товарных. А когда пассажирские составы, проходя через разъезд, сбавляли ход, детям казалось, что уж этот-то поезд остановится, и они бежали вдогонку, запыхавшись, заслоняясь ручонками от солнца, возможно, в наивной надежде укатить из этого пекла, и тяжело было смотреть, с какой завистью и недетской печалью малыши-боранлинцы глядели вслед уходящим вагонам. Пассажиры в тех настезь распахнутых вагонах с открытыми до отказа окнами и дверями тоже сходили с ума от духоты, смрада и мух, но у них была хотя бы уверенность, что через пару суток они очутятся там, где прохладные реки и зеленые леса.

За детей они все переживали тем летом, все взрослые, отцы и матери, но то, чего это стоило Абуталипу, понимал, кроме Зарипы, пожалуй, один он, Едигей. С Зарипой как раз и случился у них первый разговор об этом. В том разговоре приоткрылось еще кое-что в судьбах этих двоих.

Работали они в тот день на линии, гравий подновляли на полотне. Разбрасывали щебень, подсовывали его в люфты под шпалы и рельсы и тем самым укрепляли оползающую от вибрации насыпь. Делать это надо было урывками, в промежутках между проходящими поездами. Долгая, изматывающая в такую жару работа. Ближе к полудню Абуталип взял опустевший бидон и пошел, как он сказал, за горячей водой к цистерне в тупике и заодно глянуть, как там ребята.

Он пошел по шпалам быстро, несмотря на то что палило. Спешил побыстрее к детишкам, ему было не до себя. Вылинявшая майка неопределенного грязного цвета висела, обтянув костлявые плечи, на голове пожухлая соломенная шляпа, штаны болтались на исхудавшем теле, на ногах разбитые рабочие ботинки без шнурков. Он шел, шлепая подошвами по шпалам, ни на что не обращая внимания. Когда сзади появился поезд, то даже не оглянулся.

– Эй, Абуталип, сойди с линии! Ты что, оглох?! – крикнул Едигей.

Но тот не расслышал. И только когда паровоз дал гудок, спустился по откосу вниз, но и тогда не взглянул на пронсящийся мимо состав. И не видел, как грозил ему кулаком машинист.

На войне, в плену, человек не поседел, помоложе, конечно, был, на фронт уходил девятнадцати лет, младшим лейтенантом. А тем летом седина пошла. Сарозекская. Причем быстро замелькала непрошеной белизной то там, то тут в плотной, густой, гривастой шевелюре и на висках стала преобладать, поседели виски. В добрые времена быть бы ему красивым, представительным мужчиной. Широколобый, с орлиным носом, кадыкастый, с крепким ртом и продолговатыми, удлинненными глазами, был он ладный, хорошего роста. Зарипа горько подшучивала: «Не повезло тебе, Абу, ты должен был Отелло играть на сцене». Абуталип усмехался: «Тогда бы я тебя придушил как последний идиот, зачем это тебе надо!»

Замедленная реакция Абуталипа на догонявший сзади поезд встревожила Едигея не на шутку.

– Ты бы сказала ему, что ж он так, – полуупрекая, сказал он Зарипе. – Машинист отвечать не будет, не положено ходить по путям. Да дело не в этом. К чему так рисковать?

Зарипа тяжело вздохнула, обтирая рукавом пот с разгоряченного почерневшего лица.

– Боюсь я за него.

– А что?

– Боюсь, Едике. Что нам скрывать от тебя. Казнится он и за детей и за меня. Ведь когда я выходила замуж, не послушалась родных. Старший брат мой, тот из себя выходил, кричал: «Век будешь каяться, дура! Ты не замуж выходишь, а на несчастье идешь, и дети твои и дети детей, еще не родившись, уже обречены быть несчастными. А твой возлюбленный, если у него есть голова на плечах, не семью должен заводить, а повеситься. Это самый лучший выход для него!» А мы поступили по-своему. Надеялись: раз кончилась война, какие счета у живых и мертвых? Мы от всех держались подальше, и от его и от моих родственников. А в последний раз, ты представляешь, брат сам написал заявление, что он предупреждал меня, возражал против нашего брака. И что он ничего общего не имеет со мной и тем более с такой личностью, пребывавшей долгое время за границей, как Абуталип Куттыбаев. Ну, после этого опять началось. Куда ни ткнемся, всюду нам от ворот поворот, а вот теперь мы здесь, дальше некуда.

Она замолчала, ожесточенно подгребая битый гравий под шпалы. Впереди снова показался идущий состав. Они сошли с линии, унося с собой лопаты и носилки.

Едигей чувствовал, что должен чем-то помочь, когда люди в таком положении. Но он не мог ничего изменить, беда была далеко за пределами его сарозеков.

– Мы тут живем уже много лет. И вы привыкнете, приспособитесь. А жить надо, – подчеркнул он, глядя ей в лицо, и подумал: «Да-а, горек сарозекский хлеб. Когда приехали зимой, белолицая была еще, а теперь лицо как земля, – отмечал он, сожалея о ее меркнувшей на глазах красоте. – Волосы какие были – повыгорели, ресницы и те опалило солнцем. Губы полопались. Совсем худо ей. Непривычная к такой жизни. Однако держится, не отступается. А куда теперь отступать – двое детей. Все равно молодец...»

Тем временем, взвихривая жгучее стояние воздуха, протарахтел по пути, как жаркая автоматная очередь, очередной состав. Они снова поднялись с инструментом на полотно – продолжить работу.

– Слушай, Зарипа, – сказал Едигей, пытаясь как-то укрепить ее дух, примирить с реальностью. – Для детей тут, конечно, тяжело, не спорю. У самого, как посмотрю на ребятишек наших, сердце болит. Но ведь не век жара будет колом стоять. Схлынет. А потом, если подумать, вы здесь не одни, в сарозеках, люди есть вокруг, мы есть, на худой конец. Что ж теперь убиваться, раз так случилось в жизни.

– Вот и я об этом говорю ему, Едике. Я ведь стараюсь не проронить ни слова ненужного. Я же понимаю, каково ему.

– И правильно делаешь. Я об этом и хотел сказать тебе, Зарипа. Случая ждал. Да ты сама все знаешь. Просто к слову пришлось. Извини.

– Бывает, конечно, неважко. И себя жалко, и его жалко, а детей еще больше. Хотя он ни в чем не виноват, а чувствует себя повинным, что завез нас сюда. И изменить ничего не может. Что и говорить, в наших краях, среди алатауских гор и рек, совсем другая жизнь и климат совсем другой. Детей хотя бы на лето могли бы отправить туда. Но к кому? Стариков у нас нет, рано поумирали. Братья, сестры, родственники... Их тоже трудно судить, им это совсем ни к чему. И прежде избегали нас, а теперь и вовсе. Зачем им наши дети? Вот и мучаемся, боимся, что на всю жизнь застрянем здесь, хотя вслух об этом не говорим. Но я вижу, каково ему... Что нас ждет впереди, одному Богу известно...

Они тяжело замолчали. И потом уже не возвращались к этому разговору. Работали, пропускали поезда по линии и снова брались за дело. А что оставалось? Как еще было утешить, как помочь им в их беде? «Конечно, по миру не пойдешь, – думал Едигей, – жить им будет на что, вдвоем работают. Насильно их вроде никто не заточал, а выхода им отсюда нет никакого. Ни завтра, ни послезавтра».

И еще удивлялся Едигей самому себе, своей обиде и горечи за эту семью, будто бы их история касалась лично его. Кто они ему? Мог же он сказать себе – дело это не его ума, ему-то, собственно, что? Да и кто он есть такой, чтобы судить да рядить о неположенных ему вещах? Работяга, степняк, каким несть числа на свете, ему ли негодовать, ему ли возмущаться, тревожить свою совесть вопросами, что справедливо и что несправедливо в жизни. Ведь наверняка там, откуда все это происходит, знают в тысячу раз больше, чем он, Буранный Едигей. Там виднее, чем ему здесь, в сарозеках. Его ли то заботы? И все равно не мог успокоиться. И почему-то больше болел он душой за нее, Зарипу. Удивляли и покоряли его ее преданность, выдержка, ее отчаянная схватка с невзгодами. Она походила на птицу, которая пыталась крыльями заслонить гнездо от бури. Ведь другая поплакала бы, поплакала да покорилась бы, поклонилась родне. А она расплачивалась на равных с мужем за прошлое войны. И именно это обстоятельство больше всего и вопреки всему причиняло беспокойство Едигею, ведь сам он ничем не мог защитить ни ее детей, ни ее мужа... Бывали потом минуты, когда он горько сожалел, что судьбе угодно было поселить эту семью на Боранлы-Буранном. Зачем ему эти переживания? Не знал бы, не ведал ничего такого и жил спокойно, как прежде...

VI

Ко второй половине дня на Тихом океане южнее Алеутов зашевелились волны. Юго-восточный ветер, возникший с низовой американского материка, постепенно набирал силу и постепенно уточнял, укреплял свое направление. И вода пришла в движение на огромном открытом просторе, тяжело покачиваясь, всплескиваясь и все чаще укладывая волны рядами, грядами одну к другой. Это предвещало если не шторм, то долговременное волнение.

Для авианосца «Конвенция» такие волны в открытом океане не представляли опасности. В другой раз он и не подумал бы изменить свое положение. Но поскольку с минуты на минуту ожидалась посадка на палубу спешно возвращавшихся самолетов особоуполномоченных комиссий после консультаций с вышестоящими инстанциями, авианосец предпочел развернуться против ветра, чтобы уменьшить боковую качку. Все сошло нормально. Вначале сел сан-францисский, а затем владивостокский лайнер.

Комиссии вернулись в полном составе, одинаково молчаливые и озабоченные. Через пятнадцать минут они уже сидели за столом закрытого совещания. Через пять минут после начала работы комиссий в космос, на борт орбитальной станции «Паритет» была отправлена для передачи паритет-космонавтам 1-2 и 2-1 в Галактику Держателя срочная шифрованная радиограмма: «Космонавтам-контролерам 1-2 и 2-1 орбитальной станции «Паритет». Предупредить паритет-космонавтов 1-2 и 2-1, находящихся за пределами Солнечной системы, не предпринимать никаких действий. Остаться на месте до особого указания Обценупра».

После этого, не теряя ни минуты, особоуполномоченные комиссии приступили к изложению своих позиций и предложений сторон по разрешению космического кризиса...

Авианосец «Конвенция» стоял против ветра среди бесконечно набегающих тихоокеанских волн. Никто в мире не знал, что на его борту в это время решалась глобальная судьба планеты...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства – Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Оставалось еще часа два пути до кладбища Ана-Бейит. Похоронная процессия двигалась по сарозекам тем же манером. Указуя направление, впереди восседал на верблюде Буранный Едигей. Его Каранар все так же шел в голове размашистым неутомимым ходом, следом поспевали по целине трактор с прицепом, в котором рядом с покойным Казангапом одиноко и терпеливо сидел его зять, муж Айзады, и за ними – экскаватор «Беларусь». А сбоку, то забегая вперед, то отставая, то приостанавливаясь по какой-то важной причине, бежал все так же деловито и уверенно рыжий грудастый пес Жолбарс.

Солнце припекало, поднимаясь к зениту. Позади оставалась большая часть расстояния, а великие сарозеки являли взору за каждой грядой все новые и новые пустынные земли, простирающиеся всякий раз до самой черты горизонта. Велико было степное раздолье. Когда-то в этих местах обитали недоброй памяти жуаньжуаны, пришельцы, захватившие на долгое время почти всю сарозекскую округу. Жили в этих местах и другие кочевые народы, и между ними происходили постоянные войны за выпасы и колодцы. То одни брали верх, то другие. Но и победители и побежденные все равно оставались в этих же пределах, одни стеснившись, другие расширив свои территории. Елизаров говорил, что сарозеки как жизненные пространства

стоили этой борьбы. Тогда здесь выпадало гораздо больше дождей и весной и осенью. Трав хватало на многие стада крупного и мелкого скота. Тогда здесь проходили купцы и шли торги. Но потом климат якобы резко изменился – перестали выпадать дожди, пересохла колодцы, иссяк подножный корм. И разошлись пришлые на сарозеки народы и племена кто куда, а жуаньжуаны вовсе исчезли. Двинулись к Эдилю – так называлась тогда Волга – и канули в приэдилской стороне в неизвестность. Никто не знал, откуда они пришли, и никто не узнал, куда они делись. Поговаривали, что настигло их проклятье, – когда переходили они скопом Эдил зимой, лед на реке вдруг раздвинулся и все они вместе с табунами и стадами ушли под лед...

Коренные сарозекцы – казахские номады – и в те времена не покинули свой край, держались в тех местах, где удавалось добыть воду в заново прорытых колодцах. Но самое оживленное для сарозеков время совпало с послевоенными годами. Появились автомашины – водовозы. Один водовоз, если водитель хорошо знал местность, мог обслужить три-четыре отгонных стойбища. Арендаторы пастбищ в сарозеках – колхозы и совхозы прилегающих областей – подумывали уже об устройстве постоянных сарозекских баз для отгонного животноводства. Прикидывали, примерялись, как и во что обойдутся хозяйствам такие строения. И хорошо, что не поторопились. Незаметно да неприметно возник в окрестностях Ана-Бейита город без названия – Почтовый ящик. Так и говорили – поехал в Почтовый ящик, был в Почтовом ящике, купили в Почтовом ящике, видел в Почтовом ящике... Почтовый ящик разрастался, отстраивался, закрывался для посторонних. Асфальтированная дорога связывала его с одной стороны с космодромом, с другой – с железнодорожной станцией. С того и началось новое, индустриальное заселение сарозеков. От всего прошлого в той стороне только и осталось кладбище Ана-Бейит на двух соприкасающихся, как верблюжьи горбы, пригорках-близнецях – Эгиз-Тюбе, самое почитаемое место захоронения во всей сарозекской округе. В старые времена хоронить сюда привозили порой из таких дальних уголков, что приходилось людям ночевать в степи. Но зато потомки погребенных на Ана-Бейите законно гордились тем, что оказали памяти предков особую почесть. Здесь хоронили самых уважаемых и известных в народе людей, долго живших, много знавших, заслуживших добрую славу и словом и делом. Елизаров, тот все знал, он называл это место сарозекским пантеоном.

Сюда и приближалась в тот день странная, сопровождаемая собакой верблюдо-тракторная похоронная процессия с железнодорожного разезда Боранлы-Буранный...

У кладбища Ана-Бейит была своя история. Предание начиналось с того, что жуаньжуаны, захватившие сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой – надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убийщики-жуаньжуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевшая верблюжью шкуру, первым делом отделяли ее наиболее тяжелую, плотную вьюную часть. Поделив вью на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями – наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергся такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта – раба, не помнящего своего прошлого. Вьюной шкуры одного верблюда хватало на пять-шесть шири. После надевания шири каждого обреченного заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там в открытом поле, со связанными руками и ногами, на солнцепеке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усилен-

ные дозоры стерегли в определенных местах подходы на тот случай, если соплеменники пленных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращен жуаньжуанами в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе чучело прежнего человека. И лишь одна мать найманская, оставшаяся в предании под именем Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская легенда. И отсюда название кладбища Ана-Бейит – Материнский упокой.

Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под сарозекским солнцем. В живых оставались один или два манкурта из пяти-шести. Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей, сжимающейся на голове сыромятной верблюжьей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами палящего солнца, шири стискивало, сжимало бритую голову раба подобно железному обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и прямые азиатские волосы иной раз врастали в сыромятную кожу, в большинстве случаев, не находя выхода, волосы загибались и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большие страдания. Последние испытания сопровождалось полным помутнением рассудка. Лишь на пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить, выжил ли кто из пленных. Если заставляли в живых хотя бы одного из замученных, то считалось, что цель достигнута. Такого поили водой, освобождали от оков и со временем возвращали ему силу, поднимали на ноги. Это и был раб-манкурт, насильно лишенный памяти и потому весьма ценный, стоивший десяти здоровых невольников. Существовало даже правило – в случае убийства раба-манкурта в междоусобных столкновениях выкуп за такой ущерб устанавливался в три раза выше, чем за жизнь свободного соплеменника.

Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери – одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного «я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное – восстание раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде исключением – ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжелую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжьем стаде. Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его пищей – и тогда он бесшумно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал...

Куда легче снять пленному голову или причинить любой другой вред для устрашения духа, нежели отбить человеку память, разрушить в нем разум, вырвать корни того, что пребывает с человеком до последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с ним и недоступным для других. Но кочевые жуаньжуаны, вынесшие из своей кромешной истории самый жестокий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную суть человека. Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося тем самым человеческой натуре

самое тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний. Не случайно ведь, причитая по сыну, превращенному в манкурта, Найман-Ана сказала в иступленном горе и отчаянии:

«Когда память твою отторгали, когда голову твою, дитя мое, ужимали, как орех клещами, стягивая череп медленным воротом усыхающей кожи верблюжьей, когда обруч невидимый на голову насадили так, что глаза твои из глазниц выпирали, налитые сукровицей страха, когда на бездымном костре сарозеков предсмертная жажда тебя истязала и не было капли, чтобы с неба на губы упала, – стало ли солнце, всем дарующее жизнь, для тебя ненавистным, ослепшим светилом, самым черным среди всех светил в мире?»

Когда, раздираемый болью, твой вопль истошно стоял среди пустыни, когда ты орал и метался, взывая к Богу днями, ночами, когда ты помощи ждал от напрасного неба, когда, задыхаясь в блевотине, исторгаемой муками плоти, и корчась в мерзком дерьме, истекавшем из тела, перекрученного в судорогах, когда угасал ты в зловонии том, теряя рассудок, съедаемый тучей мушиной, – проклял ли ты из последних сил Бога, что сотворил всех нас в покинутом им самим мире?

Когда сумрак затмения застилал навсегда изувеченный пытками разум, когда память твоя, разъятая силой, неотвратимо теряла сцепления прошлого, когда забывал ты в диких метаниях взгляд матери, шум речки подле горы, где играл ты летними днями, когда имя свое и имя отца ты утратил в сокрушенном сознании, когда лики людей, среди которых ты вырос, померкли и имя девицы померкло, что тебе улыбалась стыдливо, – разве не проклял ты, падая в бездну беспомыслия, мать свою страшным проклятием за то, что посмела зачать тебя в чреве и родить на свет божий для этого дня?..»

История эта относилась к тем временам, когда, вытесненные из южных пределов кочевой Азии, жуаньжуаны хлынули на север и, надолго завладев сарозеками, вели непрерывные войны с целью расширения владений и захвата рабов. На первых порах, пользуясь внезапностью нашествия, в прилегающих к сарозекам землях они взяли много пленных, в том числе женщин и детей. Всех их погнали в рабство. Но сопротивление чужеземному нашествию возросло. Начались ожесточенные столкновения. Жуаньжуаны не собирались уходить из сарозеков, а, напротив, стремились прочно утвердиться в этих обширных для степного скотоводства краях. Местные же племена не примирялись с такой утратой и считали своим правом и долгом рано или поздно изгнать захватчиков. Как бы то ни было, большие и малые сражения шли с переменным успехом. Но и в этих изнурительных войнах были моменты затишья.

В одно из таких затиший купцы, пришедшие с караваном товаров в найманские земли, рассказывали, сидя за чаем, как минули они сарозекские степи без особых помех у колодцев со стороны жуаньжуанов, и упомянули о том, что встретили в сарозеках одного молодого пастуха при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с ним разговор вести, а он оказался манкуртом. С виду здоровый, и не подумаешь никак, что такое с ним сотворено. Наверно, не хуже других был когда-то и речист и понятлив, и сам совсем молодой еще, только-только усы пробиваются, и обличьем недурен, а обмолвишься словом – вроде как вчера народился на свет, не помнит, бедняга, не знает имени своего, ни отца, ни матери, ни того, что с ним сделали жуаньжуаны, откуда сам родом, тоже не знает. О чем ни спросишь, молчит, ответит только «да», «нет», и все время за шапку держится, плотно надетую на голову. Хотя и грешно, но и над увечьем люди смеются. При этих словах посмеялись над тем, что, оказывается, бывают такие манкурты, у которых верблюжья кожа местами навсегда прирастает к голове. Для такого манкурта хуже любой казни, если припугнуть: давай, мол, отпарим твою голову. Будет биться, как дикая лошадь, но к голове не даст притронуться. Такие шапку не снимают ни днем, ни ночью, в шапке спят... И, однако, продолжали гости, дурак дураком, но дело свое манкурт соблюдал – зорко следил, пока караванщики не удалились достаточно от того места, где бродило его стадо верблюдов. А один погонщик решил разыграть на прощание того манкурта:

– Путь далекий у нас впереди. Кому привет передать, какой красавице, в какой стороне? Говори, не скрывай. Слышишь? Может, платок передать от тебя?

Манкурт долго молчал, глядя на погонщика, а потом проронил:

– Я каждый день смотрю на луну, а она на меня. Но мы не слышим друг друга... Там кто-то сидит...

При том разговоре присутствовала в юрте женщина, разливавшая чай купцам. То была Найман-Ана. Под этим именем осталась она в сарозекской легенде.

Найман-Ана виду не подала при заезжих гостях. Никто не заметил, как странно поразила ее вдруг эта весть, как изменилась она в лице. Ей хотелось поподробней порасспросить купцов о том молодом манкурте, но именно этого она испугалась – узнать больше, чем было сказано. И сумела промолчать, задавила в себе возникшую тревогу, как вскрикнувшую раненую птицу... Тем временем разговор в кругу зашел о чем-то другом, никому уже дела не было до несчастного манкурта, мало ли какие случаи бывают в жизни, а Найман-Ана все пыталась сладить со страхом, охватившим ее, унять дрожь в руках, словно бы она действительно придушила ту вскрикнувшую птицу в себе, и только пониже опустила на лицо черный траурный платок, давно уже ставший привычным на ее поседевшей голове.

Караван торговцев вскоре ушел своей дорогой. И в ту бессонную ночь Найман-Ана поняла, что не будет ей покоя, пока не разыщет в сарозеках того пастуха-манкурта и не убедится, что то не ее сын. Тягостная, страшная мысль эта вновь оживила в материнском сердце давно уже затаившееся в смутном предчувствии сомнение, что сын лег на поле брани... И лучше, конечно, было дважды похоронить его, чем так терзаться, испытывая неотступный страх, неотступную боль, неотступное сомнение.

Ее сын был убит в одном из сражений с жуаньжуанами в сарозекской стороне. Муж погиб годом раньше. Известный, прославленный был человек среди найманов. Потом сын отправился с первым походом, чтобы отомстить за отца. Убитых не полагалось оставлять на поле боя. Сородичи обязаны были привезти его тело. Но сделать это оказалось невозможно. Многие в той большой схватке видели, когда сошлись с врагом вплотную, как он упал, сын ее, на гриву коня и конь, горячий и напуганный шумом битвы, понес его прочь. И тогда он свалился с седла, но нога застряла в стремях, и он повис за смертью сбоку коня, а конь, обезумевший от этого еще больше, поволок на всем скаку его бездыханное тело в степь. Как назло, лошадь пустилась бежать во вражескую сторону. Несмотря на жаркий, кровопролитный бой, где каждый должен был быть в сражении, двое соплеменников кинулись вдогонку, чтобы вовремя перехватить понесшего коня и подобрать тело погибшего. Однако из отряда жуаньжуанов, находившегося в засаде в овраге, несколько верховых косоплетов с криками кинулись наперерез. Один из найманов был убит с ходу стрелой, а другой, тяжело раненный, повернул назад и, едва успев прискакать в свои ряды, здесь рухнул наземь. Случай этот помог найманам вовремя обнаружить в засаде отряд жуаньжуанов, который готовился нанести удар с фланга в самый решающий момент. Найманы спешно отступили, чтобы перегруппироваться и снова ринуться в бой. И, конечно, никому уже не было дела до того, что случилось с их молодым ратником, с сыном Найман-Аны... Раненый найман, тот, что успел прискакать к своим, рассказывал потом, что, когда они ринулись за ним вослед, конь, поволочивший ее сына, быстро скрылся из виду в неизвестном направлении...

Несколько дней подряд выезжали найманы на поиски тела. Но ни самого погибшего, ни его лошади, ни его оружия, никаких иных следов обнаружить не смогли. В том, что он погиб, ни у кого не оставалось сомнений. Даже будучи раненым, за эти дни он умер бы в степи от жажды или истек бы кровью. Погоревали, попричитали, что их молодой сородич остался непогребенным в безлюдных сарозеках. То был позор для всех. Женщины, голосившие в юрте Найман-Аны, упрекали своих мужей и братьев, причитая:

– Расклевали его стервятники, растащили его шакалы. Как же смее вы после этого ходить в мужских шапках на головах!..

И потянулись для Найман-Аны пустые дни на опустевшей земле. Она понимала, на войне люди гибнут, но мысль о том, что сын остался брошенным на поле брани, что тело его не предано земле, не давала ей мира и покоя. Терзалась мать горькими, неиссякающими думами. И некому было их высказать, чтобы облегчить горе, и не к кому было обратиться, кроме как к самому Богу...

Чтобы запретить себе думать об этом, она должна была убедиться собственными глазами в том, что сын был мертв. Кто тогда стал бы оспаривать волю судьбы? Больше всего смущало ее, что пропал бесследно конь сына. Конь не был сражен, конь в испуге бежал. Как всякая табунная лошадь, рано или поздно конь должен был вернуться к родным местам и притащить за собой труп всадника на стремяни. И тогда, как ни страшно то было бы, истеричалась, исплакалась, навывалась бы она над останками и, раздирая лицо ногтями, все сказала бы о себе, горемычной и распроклятой, так, чтобы тошно стало Богу на небе, если только понятлив он к иносказаниям. Но зато никаких сомнений не держала бы в душе и к смерти готовилась бы с холодным рассудком, ожидая ее в любой час, не цепляясь, не задерживаясь даже мысленно, чтобы продлить свою жизнь. Но тело сына так и не нашли, а лошадь не вернулась. Сомнения мучили мать, хотя соплеменники начали постепенно забывать об этом, ибо все утраты со временем притупляются и подлежат забвению... И только она, мать, не могла успокоиться и забыть. Мысли ее кружились все по тому же кругу. Что приключилось с лошадей, где остались сбруя, оружие – по ним хотя бы косвенно можно было бы установить, что случилось с сыном. Ведь могло случиться и так, что коня перехватили жуаньжуаны где-нибудь в сарозеках, когда он уже выбился из сил и дал себя поймать. Лишняя лошадь с доброй сбруей тоже добыча. Как же они поступили тогда с ее сыном, волочившимся на стремяни, – зарыли в землю или бросили на растерзание степному зверью? А что, если вдруг он был жив, еще жив каким-то чудом? Добили ли они его и тем оборвали его муки, или бросили издыхать в чистом поле, или же?.. А вдруг?..

Конца не было сомнениям. И когда заезжие купцы обмолвились за чаепитием о молодом манкурте, повстречавшемся им в сарозеках, не подозревали они, что тем самым бросили искорку в изболевшую душу Найман-Аны. Сердце ее захолонуло в тревожном предчувствии. И мысль, что то мог оказаться ее пропавший сын, все больше, все настойчивей, все сильнее завладевала ее умом и сердцем. Мать поняла, что не успокоится, пока, разыскав и увидев того манкурта, не убедится, что то не сын ее.

В тех полустепных предгорьях на летних стоянках найманов протекали небольшие каменистые речки. Всю ночь прислушивалась Найман-Ана к журчанию проточной воды. О чем говорила ей вода, так мало созвучная ее смятенному духу? Успокоения хотелось. Наслушаться, насытиться звуками бегущей влаги, перед тем как двинуться в глухое безмолвие сарозеков. Мать знала, как опасно и рискованно отправляться в сарозеки в одиночку, но не желала посвящать кого бы то ни было в задуманное дело. Никто бы этого не понял. Даже самые близкие не одобрили бы ее намерений. Как можно пуститься на поиски давно убитого сына? И если по какой-то случайности он остался жив и обращен в манкурта, то тем более бессмысленно разыскивать его, понапрасну надирать сердце, ибо манкурт всего лишь внешняя оболочка, чучело прежнего человека...

Той ночью накануне выезда несколько раз выходила она из юрты. Долго всматривалась, вслушивалась, старалась сосредоточиться, собраться с мыслями. Полночная луна стояла высоко над головой в безоблачном небе, обливая землю ровным молочно-бледным светом. Множество белых юрт, раскиданных в разных местах по подножиям увалов, были похожи на стаи крупных птиц, заночевавших здесь, у берегов шумливых речушек. Рядом с аулом, там, где располагались овечьи загоны, и дальше, в логах, где паслись табуны лошадей, слышались собачий лай и невнятные голоса людей. Но больше всего трогали Найман-Ану переключки пою-

щих девушек, бодрствующих у загонов с ближнего края аула. Сама когда-то пела эти ночные песни... В этих местах стояли они каждое лето, сколько помнит, как привезли ее сюда невестой. Вся жизнь протекла в этих местах: и когда людно было в семье, когда ставили они здесь сразу четыре юрты – одну кухонную, одну гостиную и две жилых, – и потом, после нашествия жуаньжуанов, когда осталась одна...

Теперь и она покидала свою одинокую юрту... Еще с вечера снарядилась в путь. Запаслась едой и водой. Воды брала побольше. В двух бурдюках везла воду на случай, если не сразу удастся отыскать колодцы в сарозекских местах... Еще с вечера стояла на приколе поблизости от юрт верблюдица Акмая. Надежда и спутница ее. Могла ли она отважиться двинуться в сарозекскую глухомань, если бы не полагалась на силу и быстроту Акмаи! В том году Акмая оставалась яловой, отдыхала после двух родов и была в отличной верховой форме. Сухопарая, с крепкими длинными ногами, с упругими подошвами, еще не расшлепанными от непомерных тяжестей и старости, с прочной парой горбов и красиво посаженной на мускулистой шее сухой, ладной головой, с подвижными, как крылья бабочки, легкими ноздрями, ухватисто забирающими воздух на ходу, белая верблюдица Акмая стояла целого стада. За такую скороходку в цвете сил давали десятки голов гулевого молодняка, чтобы потомство от нее получилось. То было последнее сокровище, золотая матка в руках Найман-Аны, последняя память ее прежнего богатства. Остальное разошлось, как пыль, смытая с рук. Долги, сорокадневные и годовые аши – поминки по погибшим... По сыну, на поиски которого собралась она из предчувствия, от непомерной тоски и горя, тоже уже были справлены недавно последние поминовения при большом стечении народа, всех найманов ближайшей округи.

На рассвете Найман-Ана вышла из юрты, уже готовая в путь. Выйдя, остановилась, перешагнув порог, прислонилась к двери, задумалась, окидывая взглядом спящий аул, перед тем как покинуть его. Еще стройная, еще сохранившая былую красоту Найман-Ана была подпоясана, как и полагалось в дальнюю дорогу. На ней были сапоги, шаровары, камзол без рукавов поверх платья, на плечах свободно свисающий плащ. Голову она повязала белым платком, стянув концы на затылке. Так решила в своих ночных раздумьях – уж коли надеется увидеть сына в живых, то к чему траур. А если не сбудется надежда, то и потом успеет обернуть голову вечным черным платком. Сумеречное утро скрадывало в тот час поседевшие волосы и печать глубоких горестей на лице матери – морщины, глубоко избороздившие печальное чело. Ее глаза повлажнели в тот миг, и она тяжело вздохнула. Думала ли, гадала ли, что и такое придется пережить. Но затем собралась с духом. «Ашвадан ля илла хиль алла», – прошептала она первую строку молитвы (нет Бога кроме Бога) и с тем решительно направилась к верблюдице, осадив ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычно для острстки, негромко покрикивая, Акмая неторопливо опустила грудь на землю. Быстро перекинув переметные сумки через седло, Найман-Ана взобралась верхом на верблюдицу, понукунула ее, и та встала, выпрямляя ноги и вознося сразу хозяйку высоко над землей. Теперь Акмая поняла – ей предстоит дорога...

Никто в ауле не знал о выезде Найман-Аны и, кроме заспанной свояченицы-прислуги, то и дело широко зевавшей, никто не провожал ее в тот час. Ей она еще с вечера сказала, что поедет к своим торкунам – родственникам по девичеству – погостить и что оттуда, если будут паломники, отправится вместе с ними в кипчакские земли, поклонится храму Святого Яссави...

Она выехала пораньше, чтобы никто не докучал расспросами. Удалившись от аула, Найман-Ана повернула в сторону сарозеков, смутная даль которых едва угадывалась в неподвижной пустоте впереди...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства – Сары-Озеки. Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

С борта авианосца «Конвенция» пошла еще одна зашифрованная радиограмма космонавтам-контролерам на орбитальную станцию «Паритет». В этой радиограмме в том же категорически-предупредительном тоне предлагалось не вступать с паритет-космонавтами 1-2 и 2-1, пребывающими вне Солнечной системы, в радиосвязь с целью обсуждения времени и возможности их возвращения на орбитальную станцию, впредь ждать указаний Общепупра.

На океане штормило вполсилы. Авианосец заметно покачивало на волнах. Бурунила, играла тихоокеанская вода вдоль кормы гигантского судна. А солнце все так же сияло над морским простором, охваченным бесконечно вскипающим белопенистым движением волн. Ветер струился ровным дыханием.

Все службы на авианосце «Конвенция», включая авиакрыло и группы безопасности государственных интересов, были начеку – в полной готовности...

Уже не первый день, монотонно подвывая на ходу и едва слышно пришаркивая, трусила рысцой белая верблюдица Акмая по логовам и равнинам великой сарозекской степи, а хозяйка все погоняла и понукала ее по горячим пустынным землям. Лишь на ночь останавливались они у редкого колодца. А с утра снова поднимались на поиски большого верблюжьего стада, затерявшегося в бесчисленных складках сарозеков. Именно в этой части Серединных земель, неподалеку от протянувшегося на многие километры краснопесчаного обрыва Малакумдычап, повстречали недавно проезжие купцы того пастуха-манкурта, которого теперь разыскивала Найман-Ана. Вот уже второй день кружила она вокруг да около Малакумдычапа, боясь наткнуться на жуаньжуанов, но сколько она ни глядывалась, сколько ни рыскала, всюду была степь, степь, обманчивые миражи. Однажды уже, поддавшись такому видению, проделала она большой извилистый путь к воздушному городу с мечетями и крепостными стенами. Может быть, там ее сын, на невольничьем рынке? И тогда она могла бы посадить его на Акмаю позади себя, и пусть попробовали бы их догнать... Тягостно было в пустыне, оттого и примерещилось такое.

Конечно, найти человека в сарозеках дело трудное, человек здесь песчинка, но если при нем большое стадо, занимающее на выпасе обширное пространство, то рано или поздно заметишь с краю животное, а потом найдешь других, а при стаде пастуха. На то и рассчитывала Найман-Ана.

Однако пока нигде ничего не обнаружила. И уже начала опасаться, а не перегнали ли то стадо в другое место или более того – не отправили ли жуаньжуаны этих верблюдов всем гуртом на продажу в Хиву или Бухару. Вернется ли тогда тот пастух из столь далеких краев?.. Когда мать выезжала из аула, томимая тоской и сомнениями, об одном только и мечтала – лишь бы увидеть в живых сына, пусть будет он манкурт, кто угодно, пусть не помнит ничего и не соображает, но пусть будет то ее сын, живой, просто живой... Разве этого мало! Но, углубляясь в сарозеки, приближаясь к месту, где мог оказаться тот пастух, которого встретили недавно проходившие здесь караваном торговцы, все больше боялась увидеть в сыне умственно изувеченное существо, страх тяготил и угнетал ее. И тогда она молила Бога, чтобы то был не он, не ее сын, а другой несчастный, и готова была беспрекословно примириться с тем, что сына нет и не может быть в живых. А едет она лишь для того, чтобы взглянуть на манкурта и убедиться, что сомнения ее напрасны, и, убедившись, вернется, и перестанет терзаться, и будет доживать свой век, как угодно будет судьбе... Но потом снова поддавалась тоске и желанию отыскать в сарозеках не кого-нибудь, а именно своего сына, что бы то ни значило...

В этом противоборстве чувств она вдруг увидела, перевалив через пологую грядку, многочисленное стадо верблюдов, вольно выпасавшихся по широкому долу. Бурые нагульные верблюды бродили по мелкому кустарнику и зарослям колючек, обгрызая их верхушки. Найман-Ана приударила свою Акмаю, пустилась со всех ног и вначале прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец-то отыскала стадо, потом испугалась, озноб прошиб, до того страшно стало, что увидит сейчас сына, превращенного в манкурта. Потом снова обрадовалась и уже не понимала толком, что с ней происходит.

Вот оно пасется, стадо, но где же пастух? Должен быть где-то здесь. И увидела на другом краю дола человека. Издали не различить было, кто он. Пастух стоял с длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового верблюда с поклажей, и спокойно смотрел из-под нахлобученной шапки на ее приближение.

И когда приблизилась, когда узнала сына, не помнила Найман-Ана, как скатилась со спины верблудицы. Показалось ей, что она упала, но до того ли было!

– Сын мой, родной! А я ищу тебя кругом! – Она бросилась к нему как через чашобу, разделявшую их. – Я твоя мать!

И сразу все поняла и зарыдала, топча землю ногами, горько и страшно, кривя судорожно прыгающие губы, пытаясь остановиться и не в силах справиться с собой. Чтобы устоять на ногах, цепко схватилась за плечо безучастного сына и все плакала и плакала, оглушенная горем, которое давно нависло и теперь обрушилось, подминая и погребая ее. И, плача, всматривалась сквозь слезы, сквозь налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по лицу, в знакомые черты сына и все пыталась поймать его взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает ее, ведь это же так просто – узнать собственную мать!

Но ее появление не произвело на него никакого действия, точно бы она пребывала здесь постоянно и каждый день навещала его в степи. Он даже не спросил, кто она и почему плачет. В какой-то момент пастух снял с плеча ее руку и пошел, таща за собой неразлучного верхового верблюда с поклажей, на другой край стада, чтобы взглянуть, не слишком ли далеко убежали затеявшие игру молодые животные.

Найман-Ана осталась на месте, присела на корточки, всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась с силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойствие. Сын-манкурт как ни в чем не бывало бессмысленно и равнодушно посмотрел на нее из-под плотно нахлобученной шапки, и что-то вроде слабой улыбки скользнуло по его изможденному, начерно обветренному, огрубевшему лицу. Но глаза, выражая дремучее отсутствие интереса к чему бы то ни было на свете, остались по-прежнему отрешенными.

– Садись, поговорим, – с тяжелым вздохом сказала Найман-Ана.

И они сели на землю.

– Ты узнаешь меня? – спросила мать.

Манкурт отрицательно покачал головой.

– А как тебя звать?

– Манкурт, – ответил он.

– Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое помнишь? Вспомни свое настоящее имя.

Манкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспомнить, на переносице от напряжения выступили крупные капли пота и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но перед ним возникла, должно, глухая непроницаемая стена, и он не мог ее преодолеть.

– А как звали твоего отца? А сам ты кто, откуда родом? Где ты родился, хоть знаешь?

Нет, он ничего не помнил и ничего не знал.

– Что они сделали с тобой! – прошептала мать, и опять губы ее запрыгали помимо воли, и, задыхаясь от обиды, гнева и горя, она снова стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали манкурта.

– Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, – проговорила она вслух, – но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека?! О Господи, если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?

И тогда сказала она, глядя на сына-манкурта, свое знаменитое прискорбное слово о солнце, о Боге, о себе, которое пересказывают знающие люди и поныне, когда речь заходит о сарозекской истории...

И тогда она начала свой плач, который и поныне вспоминают знающие люди:

Мен ботасы олген боз мая,
тулыбын келип искеген...¹¹

И тогда вырвались из души ее причитания, долгие безутешные вопли среди безмолвных бескрайних сарозеков...

Но ничто не трогало сына ее, манкурта.

И тогда решила Найман-Ана не расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто он есть.

– Твое имя Жоламан. Ты слышишь? Ты – Жоламан. А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать. А ты мой сын. Ты из племени найманов, понял? Ты найман...

Все, что она говорила ему, он выслушал с полным отсутствием интереса к ее словам, как будто бы речь шла ни о чем. Так же он слушал, наверно, стрекот кузнечика в траве.

И тогда Найман-Ана спросила сына-манкурта:

– А что было до того, как ты пришел сюда?

– Ничего не было, – сказал он.

– Ночь была или день?

– Ничего не было, – сказал он.

– С кем ты хотел бы разговаривать?

– С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит.

– А что ты еще хотел бы?

– Косу на голове, как у хозяина.

– Дай я посмотрю, что они сделали с твоей головой, – потянулась Найман-Ана.

Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла, что поминать о его голове никогда не следует.

В это время вдали завиднелся человек, едущий на верблюде. Он направлялся к ним.

– Кто это? – спросила Найман-Ана.

– Он везет мне еду, – ответил сын.

Найман-Ана забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся некстати жуаньжуан не увидел ее. Она осадил свою верблюдицу на землю и взобралась в седло.

– Ты ничего не говори. Я скоро приеду, – сказала Найман-Ана.

Сын не ответил. Ему было все равно.

Найман-Ана поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущееся стадо. Но было уже поздно. Жуаньжуан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, восседающую на белой верблюдице. Надо было уходить пешком, прячась между пасущимися животными.

Удалившись изрядно от выпаса, Найман-Ана заехала в глубокий овраг, поросший по краям полынью. Здесь она спешила, уложив Акмаю на дно оврага. И отсюда стала наблю-

¹¹ Я сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры верблюжонка, набитого соломой.

дать. Да, так оно и оказалось. Углядел-таки. Через некоторое время, погоня верблюда рысью, показался тот жуаньжуан. Он был вооружен пикой и стрелами. Жуаньжуан был явно озадачен, недоумевал, оглядываясь по сторонам, – куда же девался верховой на белом верблюде, замеченный им издали? Он не знал толком, в каком направлении двинуться. Проскочил в одну сторону, потом в другую. И в последний раз проехал совсем близко от оврага. Хорошо, что Найман-Ана догадалась затянуть платком пасть Акмаи. Не ровен час верблюдица подаст голос. Скрываясь за полынью на краю обрыва, Найман-Ана разглядела жуаньжуана довольно ясно. Он сидел на мохнатом верблюде, озираясь по сторонам, лицо было одутловатое, напряженное, на голове черная шляпа, как лодка, с концами, загнутыми вверх, а сзади болталась, поблескивая, черная, сухая коса, плетенная в два зуба. Жуаньжуан привстал на стременах, держа наготове пику, оглядывался, крутил головой, и глаза его поблескивали. Это был один из врагов, захвативших сарозеки, угнавших немало народа в рабство и причинивших столько несчастий ее семье. Но что могла она, невооруженная женщина, против свирепого воина-жуаньжуана? Но думалось ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой жестокости, дикости – вытравить память раба...

Порыскав взад-вперед, жуаньжуан вскоре удалился назад к стаду.

Был уже вечер. Солнце закатилось, но зарево еще долго держалось над степью. Потом разом смерклось. И наступила глухая ночь.

В полном одиночестве Найман-Ана провела ту ночь в степи где-то недалеко от своего горемычного сына-манкурта. Вернуться к нему побоялась. Давешний жуаньжуан мог остаться на ночь при стаде.

И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увезти его с собой. Пусть он манкурт, пусть не понимает что к чему, но лучше пусть он будет у себя дома, среди своих, чем в пастухах у жуаньжуаней в безлюдных сарозеках. Так подсказывала ей материнская душа. Примириться с тем, с чем примирались другие, она не могла. Не могла она оставить кровь свою в рабстве. А вдруг в родных местах вернется к нему рассудок, вспомнит вдруг детство...

Наутро Найман-Ана снова села верхом на Акмаю. Дальними, кружными путями долго подбиралась она к стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обнаружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из жуаньжуаней. И лишь убедившись, что никого нет, они окликнула сына по имени:

– Жоламан! Жоламан! Здравствуй!

Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости, но тут же поняла, что он отозвался просто на голос.

Снова пыталась Найман-Ана пробудить в сыне отнятую память.

– Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя! – умоляла и убеждала она. – Твой отец Доненбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Жоламан¹². Мы назвали тебя так потому, что ты родился в пути при большом кочевье найманов. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на три дня. Три дня был пир.

И хотя все это на сына-манкурта не произвело никакого впечатления, мать продолжала рассказывать, тщетно надеясь – вдруг что-то мелькнет в его померкшем сознании. Но она билась в наглухо закрытую дверь. И все-таки продолжала твердить свое:

– Вспомни, как твое имя? Твой отец Доненбай!

Потом она накормила, напоила его из своих припасов и стала напевать ему колыбельные песни.

Песенки ему очень понравились. Ему приятно было слушать их, и нечто живое, какое-то потепление появилось на его застывшем, задубелом до черноты лице. И тогда мать стала

¹² Жоламан – имя, образованное от двух слов: «жол» – путь, «аман» – здоровье; по смыслу – будь здоров в пути.

убеждать его покинуть это место, покинуть жуаньжуаней и уехать с ней к своим родным местам. Манкурт не представлял себе, как можно встать и уехать куда-то, – а как же стадо? Нет, хозяин велел все время быть при стаде. Так сказал хозяин. И он никуда не отлучится от стада...

И снова в который раз пыталась Найман-Ана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твердила:

– Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец Доненбай!

Не заметила мать в напрасном тщании, сколько времени прошло, только спохватилась, когда на краю стада опять появился жуаньжуан на верблюде. В этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман-Ана не мешкая села на Акмаю. И пустилась прочь. Но с другого края наперерез показался еще один жуаньжуан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разгоняя Акмаю, пошла между ними. Быстроногая белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а жуаньжуаны преследовали сзади, крича и потрясая пиками. Куда им было до Акмаи. Они все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах, а Акмая, набирая дыхание, неслась по сарозекам с недосыгаемой быстротой, унося Найман-Ану от смертельной погони.

Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные жуаньжуаны стали избивать манкурта. Но какой с него спрос. Только и отвечал:

– Она говорила, что она моя мать.

– Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову! – запугивали они несчастного манкурта.

При этих словах манкурт побледнел, серым-серым стало его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь.

– Да ты не бойся! На-ка, держи! – Старший жуаньжуан вложил ему в руки лук со стрелами.

– А ну целься! – Младший жуаньжуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. – Смотри! – удивился владелец шляпы. – В руке память осталась!

Как птица, вспугнутая с гнезда, кружила Найман-Ана по сарозекским окрестностям. И не знала, как быть, чего ожидать. Угонят ли теперь жуаньжуаны весь гурт и с ним ее сына-манкурта в другое место, недоступное для нее, поближе к своей большой орде, или будут подстерегать ее, чтобы схватить? Теряясь в догадках, она продвигалась объездами по скрытым местам и высмотрела, очень обрадовалась, когда увидела, что те двое жуаньжуаней покинули стадо. Поехали прочь рядком, не оглядываясь. Найман-Ана долго не спускала с них глаз и, когда они скрылись вдаль, решила вернуться к сыну. Теперь она во что бы то ни стало хотела увезти его с собой. Какой он ни есть – не его вина, что судьба так обернулась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать его не оставит. И пусть найманы, увидев, как увечат нашествяники плененных джигитов, как унижают и лишают их разума, пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело. Земли всем хватило бы. Однако жуаньжуанское зло нетерпимо даже для отчужденного соседства...

С этими мыслями возвращалась Найман-Ана к сыну и все обдумывала, как его убедить, уговорить бежать этой же ночью.

Уже смеркалось. Над великими сарозеками опускалась, незримо вкрадываясь по логом и долам красноватыми сумерками, еще одна ночь из бесчисленной череды прошлых и предстоящих ночей. Белая верблюдица Акмая легко и свободно несла свою хозяйку к большому табуну. Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру на верблюжьем межгорье. Настороженная и озабоченная Найман-Ана была бледна и строга. Седина, морщины, думы на челе и в глазах, как те сумерки сарозекские, неизбывная боль... Вот она достигла стада, поехала между пасущимися животными, стала оглядываться, но сына не видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пасся, таща за собой повод по земле...

– Жоламан! Сын мой Жоламан, где ты? – стала звать Найман-Ана.

Никто не появился и не откликнулся.

– Жоламан! Где ты? Это я, твоя мать! Где ты?

И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын ее, манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела.

– Жоламан! Сын мой! – звала Найман-Ана, боясь, что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. – Не стреляй! – успела вскрикнуть она и только было понукунула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться лицом, но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку.

То был смертельный удар. Найман-Ана наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!»

С тех пор, говорят, стала летать в сарозеках по ночам птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай летит поблизости с возгласом: «Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя? Имя? Твой отец Доненбай! Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай!..»

То место, где была похоронена Найман-Ана, стало называться в сарозеках кладбищем Ана-Бейит – Материнским упокоем...

От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомства. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верблюдицы были известны кругом, а самцы, напротив, рождались черными и могучими, как нынешний Буранный Каранар.

Покойный Казангап, которого теперь везли хоронить на Ана-Бейит, всегда доказывал, что Буранный Каранар не из простых, а началом от самой Акмаи, знаменитой белой верблюдицы, оставшейся в сарозеках после гибели Найман-Аны.

Едигей охотно верил Казангапу. Почему бы и нет... Буранный Каранар стоил того... Сколько уже было испытаний и в добрые и в худые дни – и всегда Каранар вызволял из трудностей... Вот только дурной уж очень становится, когда в гон идет, в самые холода всегда это с ним случается, и тогда он лютует, страшно лютует, и зима лютует и он. Две зимы сразу. Сладу нет никакого в такие дни... Однажды он подвел Едигея, крепко подвел, и был бы он, скажем, ну, не человеком, а, допустим, разумным существом, никогда не простил бы Буранный Едигей тот случай Буранному Каранару... Но что взять с верблюда, одуревшего в случной сезон... Да дело-то и не в нем. Разве можно обижаться на животное, это ведь к слову сказано, просто уж судьба обернулась таким образом. При чем тут Буранный Каранар? Вот ведь Казангап хорошо знал эту историю, он ее и рассудил, а не то кто знает, как бы все вышло.

VII

Конец лета и начало осени 1952 года вспоминал Буранный Едигей с особым чувством бывшего счастья. Как по волшебству сбылось предсказание Едигея. После той страшной жары, от которой даже сарозекские ящерицы прибегали на порог жилья, спасаясь от солнца, погода внезапно изменилась уже в середине августа. Схлынула вдруг нестерпимая жара, и постепенно стала прибывать прохлада, по крайней мере по ночам можно было уже спокойно спать. Бывает такая благодать в сарозеках, год на год не приходится, но бывает. Зимы всегда неизменны. Всегда суровы, а лето иной раз поблажку дает. Такое случается, когда в высших слоях воздушных течений, как рассказывал однажды Елизаров, происходят крупные сдвиги, меняются направления небесных рек. Елизаров любил рассказывать о таких вещах. Он говорил, что наверху протекают огромные незримые реки с берегами своими и разливами. Эти реки, находясь в непрерывном обороте, якобы омывают земной шар. И, вся окутанная ветрами, Земля плывет по кругам своим, и вот то и есть течение времени. Любопытно было послушать Елизарова.

Таких людей не сыскать, редкой души человек. Уважал его Буранный Едигей, Елизарова, и тот отвечал ему тем же. Да, так вот, значит, та небесная река, что приносит подчас в сарозеки облегчительную прохладу в самый зной, она почему-то снижается со своего потолка и, снижаясь, наталкивается на Гималаи. А Гималаи-то где, бог знает как далеко, но все равно в масштабах земного шара это совсем недалеко. Воздушная река наталкивается на Гималаи и дает обратный ход; в Индию, в Пакистан она не попадает, там жара так и остается жарой, а над сарозеками растекается обратным ходом, потому что сарозеки, подобно морю, открытое беспрепятственное пространство... И приносит та река прохладу с Гималаев...

Но как бы то ни было, поистине отрадная пора стояла в том году в конце лета и начале осени. Дожди в сарозеках – редкое явление. Каждый дождь можно запомнить надолго. Но тот дождь запомнил Буранный Едигей на всю жизнь. Сначала заволокло тучами, даже непривычно было, когда скрылась вечно пустынная глубина горячего, истоявшегося сарозекского неба. И стало парить, духота напряглась невозможная. Едигей в тот день был сцепщиком. На тупиковой линии разъезда оставались после разгрузки от гравия новой партии сосновых шпал три платформы. Еще накануне разгрузили. Как всегда, делать требуют в срочном порядке, а потом оказывается, что не так уж и срочно надобно. Полсуток после разгрузки платформы стояли в тупике. А на разгрузку все налегли – Казангап, Абуталип, Зарипа, Укубала, Букей, все, кто не на линии, брошены были на это срочное дело. Ведь тогда все вручную приходилось делать. Ох и жара стояла! Надо же, угораздило прибыть этим платформам в такую жару. Но раз надо, то надо. Работали. Укубалу замутило, стало рвать. Не выносила она духа горячих просмоленных шпал. Пришлось отправить ее домой. А потом женщин всех отпустили – дома детишки от жары изнывали. Остались мужики, в жилу вытянулись, но доделали все.

А на другой день, как раз как быть дождю, порожняк с попутным товарняком на Кумбель возвращался. Пока маневрировали да сцепляли вагоны, задышался Едигей от духоты, как в бане солдатской. Лучше уж солнце жарило бы. А машинист какой-то попался – все тянет да тянет, в час по чайной ложке. А тут ходи в три погибели под вагонами. И обложил Едигей того машиниста матом как следует. А тот тем же ответил. Ему тоже несладко у топки паровозной. От жары одурели. Ушел, слава богу, товарняк. Утащил порожние платформы.

И тут ливень хлынул разом. Прорвало. Земля вздрогнула, поднялась мигом в пузырях и лужах. И пошел, и пошел дождь, яростный, бешеный, накопивший запасы прохлады и влаги, если то верно, на снежных хребтах самих Гималаев... Ух какие Гималаи! Какая мощь! Едигей побежал домой. Зачем, сам не знает. Просто так. Ведь человек, когда попадает под дождь, всегда бежит домой или еще под какую крышу. Привычка. А не то зачем было скрываться от такого дождя? Он понял это и остановился, когда увидел, как вся семья Куттыбаевых – Абуталип, Зарипа и двое сынишек, Даул и Эрмек, – схватившись за руки, плясала и прыгала под дождем возле своего барака. И это потрясло Едигея. Не оттого, что они резвились и радовались дождю. А оттого, что еще перед началом дождя Абуталип и Зарипа поспешили, широко перешагивая через пути, с работы. Теперь он понял. Они хотели быть все вместе под дождем, с детьми, всей семьей. Едигею такое не пришло бы в голову. А они, купаясь в потоках ливня, плясали, шумели, как гуси залетные на Аральском море! То был праздник для них, отдушина с неба. Так истосковались, истомились в сарозеках по дождю. И отрадно стало Едигею, и грустно, и смешно, и жалко было изгоев, цепляющихся за какую-то светлую минуту на разъезде Боранлы-Буранный.

– Едигей! Давай с нами! – закричал сквозь потоки дождя Абуталип и замахал руками, как пловец.

– Дядя Едигей! – в свою очередь, обрадованно кинулись к нему мальчики.

Младшенький, ему всего-то шел третий год, Эрмек, любимец Едигея, бежал к нему, раскинув объятия, с широко открытым ртом, захлебываясь в дожде. Его глаза были полны неопикуемой радости, героизма и озорства. Едигей подхватил его, закружил на руках. И не знал,

как поступить дальше. Он вовсе не собирался включаться в эту семейную игру. Но тут из-за угла выбежали с громким визгом дочери Едигея – Сауле и Шарапат. Они прибежали на шум Куттыбаевых. Они тоже были счастливы. «Папа, давай бегать!» – потребовали они. И это решило колебания Едигея. Теперь они все вместе, объединившись, буйствовали под нестихающим ливнем.

Едигей не спускал с рук маленького Эрмека, опасаясь, что тот в суматохе упадет в лужу и захлебнется. Абуталип посадил к себе на спину его младшенькую – Шарапат. И так они бегали, устроив для детей потеху. Эрмек подпрыгивал на руках Едигея, кричал вовсю и, когда захлебывался, быстро и крепко прижимался мокрой мордашкой к шее Едигея. Это было так трогательно, Едигей несколько раз ловил на себе благодарные, сияющие взгляды Абуталипа и Зарипы, довольных тем, что их мальчику так славно с дядей Едигеем. Но Едигею и его девочкам тоже было очень весело в этой дождевой кутерьме, затеянной семьей Куттыбаевых. И невольно обратил внимание Едигей, какой красивой была Зарипа. Дождь разметал ее черные волосы по лицу, шее, плечам, и, обтекая ее от макушки до пят, ниспадающая вода щедро струилась по упругому, молодому телу женщины, выделяя ее шею, руки, бедра, икры босых ног. А глаза сияли радостью, задором. И белые зубы счастливо сверкали.

Для сарозеков дождь – не в коня корм. Снега постепенно пропитываются в почву. А дождь, какой бы он ни был, как ртуть на ладони, сбегает с поверхности в овраги да в балки. Взбурлит, прошумит – и нет его.

Уже через несколько минут при том большом ливне взыграли ручьи и потоки, сильные, быстрые, вспененные. И тогда боранлинцы стали бегать и прыгать по ручьям, пускать тазы и корыта по воде. Старшие ребяташки, Даул и Сауле, даже катались по ручьям в тазах. Пришлось и младших тоже усаживать в корыта, и они тоже поплыли...

А дождь все шел. Увлеченные плаванием в тазах, они оказались у самых путей, под насыпью, в начале разъезда. В это время проходил через Боранлы-Буранный пассажирский состав. Люди, высунувшись чуть ли не по пояс в настезь открытые окна и двери поезда, глазели на них, на несчастных чудаков пустыни. Они что-то кричали им вроде: «Эй, не утоните!» – свистели, смеялись. Уж очень странный, наверно, был вид у них. И поезд проследовал, омываемый ливнем, унося тех, кто через день или два, может, станет рассказывать об увиденном, чтобы потешить людей.

Едигей ничего этого не подумал бы, если бы ему не показалось, что Зарипа плачет. Когда по лицу стекают струи воды как из ведра, трудно сказать, плачет человек или нет. И все-таки Зарипа плакала. Она притворялась, что смеется, что ей безумно весело, а сама плакала, сдерживая всхлипы, перебивая плач смехом и возгласами. Абуталип спокойно схватил ее за руку:

– Что с тобой? Тебе плохо? Пошли домой.

– Да нет, я просто икаю, – ответила Зарипа.

И они снова начали забавлять детей, торопясь насытиться дарами случайного дождя. Едигею стало не по себе. Представил, как тяжело, должно быть, сознавать им, что есть другая, отторгнутая от них жизнь, где дождь не событие, где люди купаются и плавают в чистой, прозрачной воде, где другие условия, другие развлечения, другие заботы о детях... И чтобы не смутить Абуталипа и Зарипу, которые, конечно, только ради детей изображали это веселье, Едигей продолжал поддерживать их забавы...

Навозились, наигрались вдосталь и дети и взрослые, а дождь еще лил. И тогда они побежали по домам. И, глядя сочувственно им вслед, любовался Едигей, как бежали Куттыбаевы рядышком, отец, мать, дети. Все мокрые. Хоть один день счастья в сарозеках.

Держа младшую на руках, старшую дочь за руку, Едигей появился на пороге. Укубала испуганно всплеснула при виде их руками:

– Ой, да что с вами? На кого же вы похожи?

– Не пугайся, мать, – успокоил жену Едигей и рассмеялся. – Когда атан пьянеет, он играет со своими тайлаками¹³.

– То-то, я гляжу, уподобился, – усмехнулась укоризненно Укубала. – Ну раздевайтесь, не стойте, как мокрые курицы.

Дождь перестал, но он еще проливался где-то по сарозекским окраинам до самого рассвета, судя по тому, что доносились среди ночи глухие перебаты отдаленного грома. Едигей несколько раз просыпался от этого. И удивлялся. На Аральском море, бывало, гроза над головой грохочет – и то спалось. Ну, там другое дело – грозы там частые. Просыпаясь, угадывал Едигей сквозь смеженные веки, как отражались в окнах мигающим сполохом далекие, размытые зарницы, вспыхивавшие в степи в разных местах.

Снилось той ночью Буранному Едигею, что опять он на фронте под обстрелом лежит. Но снаряды падали бесшумно. Взрывы беззвучно взмывали в воздух и застывали черными выплесками, медленно и тягостно опадая. Один из таких взрывов подбросил его вверх, и он падал очень долго, падал с замирающим сердцем в жуткую пустоту. Потом он бежал в атаку, очень много их было, солдат в серых шинелях, поднявшихся в атаку, но лиц не различить было, казалось, просто шинели бежали сами по себе с автоматами в руках. И когда шинели закричали «ура!», на пути перед Едигеем возникла мокрая от дождя, смеющаяся Зарипа. Это было удивительно. В ситцевом платице, с разметанными волосами, в потоках воды, стекающих по лицу, она смеялась безостановочно. Едигею некогда было задерживаться, он помнил, что шел в атаку. «Почему ты так смеешься, Зарипа? Это не к добру», – сказал Едигей. «А я не смеюсь, я плачу», – ответила она и продолжала смеяться под струями дождя...

На другой день он хотел рассказать об этом сне Абуталипу и ей. Но раздумал, нехорошим показался сон. Зачем лишний раз расстраивать людей...

После этого великого дождя опрокинулась жара в сарозеках, или, как говорил Казангап, кончились взятки лета. Были еще знойные дни, но уже терпимее. И отсюда постепенно началась предосенняя благодать сарозекская. Избавилась от изнуряющей жары и боранлинская детвора. Ожили, опять зазвенели их голоса. А тут передали на разъезд с Кумбеля, что прибыли на станцию кызыл-ординские арбузы и дыни. И что, мол, как желают боранлинцы – им могут прислать их долю или пусть сами приедут заберут. Этим и воспользовался Едигей. Убедил начальника разъезда, что надо самим поехать, а то ведь пришлют – на тебе, боже, что нам негоже. Тот согласился. Хорошо, говорит, поезжайте с Куттыбаевым и выберите что получше. Этого и надо было Едигею. Хотелось вывезти Абуталипа и Зарипу с детьми хоть на один день из Боранлы-Буранного. Да и самим не мешало проветриться. И отправились они, две семьи со всей детворой, рано утром на попутном составе в Кумбель. Приоделись. То-то было славно. Детям казалось, что они едут в сказочную страну. Всю дорогу ликовали, расспрашивали: а деревья там растут? Растут. А трава там есть зеленая? Есть – и зеленая. И цветы даже есть. А дома большие и машины бегают по улицам? А арбузов и дынь там сколько хочешь? А мороженое там есть? А там есть море?

Ветер захлестывал в товарный вагон, струился ровным приятным потоком в приоткрытые двери, загороженные деревянным щитом на всякий случай, чтобы ребята не вывалились, хотя на самом проходе у края сидели на порожних ящиках Едигей с Абуталипом. Разговоры вели разные да отвечали на детские вопросы. Доволен был Буранный Едигей, что ехали они вместе, что погода хорошая, что дети веселые, но больше всего рад был Едигей не за малышей, а за Абуталипа и Зарипу. Просветлели их лица. Освободились, расковались люди на какое-то время хотя бы от постоянной озабоченности, внутренней подавленности.

Приятно было видеть – Зарипа и Укубала задушевно беседовали о разных делах житейских. И были счастливы. Ведь так и должно быть, много ли надо людям... Очень хотелось

¹³ Тайлак – детеныш верблюда.

Едигею, чтобы позабылись все невзгоды Куттыбаевыми, чтобы сумели они укрепиться, приспособиться к их боранлинской жизни, коли другого выбора не предстояло. Лестно было также Едигею, что Абуталип сидел рядом, касаясь плечом его плеча, зная, что на Едигею можно положиться и что они хорошо понимают друг друга без лишних слов, не затрагивая в суете болезненные темы, о которых не стоило походя говорить. Ценил Едигей в Абуталипе ум, сдержанность, но больше всего привязанность к семье, ради которой жил Абуталип, не сдавался, черпая в том силу. Прислушиваясь к высказываниям Абуталипа, Едигей приходил к выводу, что самое лучшее, что может человек сделать для других, так это воспитать в своей семье достойных детей. И не с чьей-то помощью, а самому изо дня в день, шаг за шагом вкладывать в это дело всего себя, быть, насколько можно, вместе с детьми.

Вот уж, казалось бы, где только не учили Сабитжана, с самых малых лет по интернатам, по институтам и по разным курсам повышений. Бедный Казангап все, что добывал-зарабатывал, отдавал сыну, чтобы не хуже других жилось-былось его Сабитжану, – а что толку? Знать-то все знает, а никчемный и есть никчемный.

Вот и думалось тогда по пути Едигею, когда они вместе ехали за арбузами да дынями на Кумбель, что ежели нет лучшего выхода, то стоит Абуталипу Куттыбаеву обосноваться как следует в Боранлы-Буранном. Хозяйство налаживать свое, скотом обзавестись и поднимать сыновей среди сарозеков как сможет и сколько сможет. Правда, учить уму-разуму он его не стал, но понял из разговора, что и Абуталип к тому склонен, что есть такое намерение. Интересовался он, как картошкой запастись, где валенки купить на зиму жене да детям, сам, мол, в сапогах похожу. Да еще расспрашивал, есть ли библиотека в Кумбеле и дают ли книги на разъезды для пользования.

К вечеру того дня опять же на попутном товарняке вернулись домой с дынями и арбузами, выделенными орсом для боранлинцев. Дети, конечно, притомились к вечеру, но были довольны очень. Повидали мир на Кумбеле, игрушек накупили, мороженое ели и всякое прочее. Да, случилось одно небольшое происшествие в станционной парикмахерской. Решили подстричь ребят. А когда очередь дошла до Эрмека, тут поднялся такой крик и плач, что сладу не было никакого с мальчишкой. Умаялись все, а он боится, вырывается, кричит, отца зовет. Абуталип отошел было в тот момент в магазин рядом. Зарипа не знала, что делать, и краснела и бледнела от стыда. И все оправдывалась, что от рождения еще ни разу не стригли ребенка, жалели – уж очень красивые, кудрявые волосы были у малыша. А и в самом деле, волос рос у Эрмека отменный, густой и вьющийся, в мать пошел, и вообще он был похож на Зарипу: как вымоют голову и расчешут кудри – одно загляденье.

На что уж пошли, Укубала разрешила подрезать волосы Сауле: вот, мол, смотри, девочка и то не боится. Это, кажется, возымело какое-то действие, но как только парикмахер взял в руки машинку, так снова крик и рев, Эрмек вырвался, и тут как раз в дверях появился Абуталип. Эрмек бросился к отцу. Отец приподнял его и крепко прижал к себе, понял, что не стоит мучить ребенка.

– Извините, – сказал он парикмахеру. – Как-нибудь в другой раз. Соберемся с духом и тогда... Не к спеху... В другой раз...

В ходе чрезвычайного заседания особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по обоюдному согласию сторон на орбитальную станцию «Паритет» пошла еще одна кодированная радиogramма, предназначенная для передачи паритет-космонавтам 1-2 и 2-1, находящимся на планете внеземной цивилизации, – категорически не предпринимать никаких действий, находиться на месте до особого указания Обценупра.

Заседание продолжалось по-прежнему при закрытых дверях. Авианосец «Конвенция» по-прежнему находился на своем месте в Тихом океане, южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком.

По-прежнему никто еще в мире не знал, что произошло величайшее межгалактическое событие – в системе светила Держатель открыта планета внеземной цивилизации, разумные существа которой предлагали установить контакт с землянами.

На чрезвычайном заседании стороны дебатировали все «за» и «против» столь необычной и неожиданной проблемы. На столе перед каждым членом комиссий, помимо прочих подсобных материалов, лежало досье с полным текстом посланий паритет-космонавтов 1-2 и 2-1. Изучалась каждая мысль, каждое слово документов. Любая деталь, приводимая как факт устройства разумной жизни на планете Лесная Грудь, рассматривалась прежде всего с точки зрения возможных последствий, совместимости или несовместимости с земным опытом цивилизации и с интересами ведущих стран планеты... С такого рода проблемами еще никому из людей не приходилось сталкиваться. И вопрос требовалось решать экстренно...

На Тихом океане по-прежнему штормило вполсилы...

После того как семья Куттыбаевых пережила самую страшную пору сарозекского летнего пекла и не схватилась в отчаянии за пожитки, не двинулась из Боранлы-Буранного куда угодно, только бы прочь, боранлинцы поняли, что эта семья останется здесь. Заметно приободрился, вернее, втянулся в боранлинскую ляжку Абуталип Куттыбаев. Ну, конечно, обвык, освоился с условиями жизни на разьезде. Как любой и каждый, вправе был и он сказать, что Боранлы – самое гиблое место на свете, если даже воду приходилось привозить в цистерне по железной дороге и для питья и для всех прочих нужд, а кому хочется испить свежей, настоящей водицы, тот должен оседлать верблюда и отправиться с бурдюками к колодцу за тридевять земель, на что, кроме Едигея и Казангапа, никто и не отваживался.

Да, так было еще в пятьдесят втором году и вплоть до шестидесятых, пока не установили на разьезде глубинную электроветровую водокачку. Но тогда об этом еще и не мечтали. И, несмотря на все это, Абуталип никогда не клял, не поносил ни разьезд Боранлы-Буранный, ни сарозекскую местность эту. Воспринимал худое как худое, хорошее как хорошее. В конце концов, земля эта ни в чем и ни перед кем не была виновата. Человек сам должен был решать, жить ему здесь или не жить...

И на этой земле люди старались устроиться как можно удобней. Когда Куттыбаевы пришли к окончательному убеждению, что место их здесь, на Боранлы-Буранном, и что дальше им некуда податься, а необходимо устраиваться поосновательней, то времени не стало хватать на домашние дела. Само собой, каждый день или каждую смену полагалось отработать, но и в свободное время забот оказалось невпроворот. Закрутился, запарился Абуталип, когда принялся готовить жиле к зиме – печку переключивал, дверь утеплял, рамы подгонял и прилаживал. Сноровки к таким делам особой у него не было, но Едигей и инструментом и материалом помогал, не оставлял его одного. А когда стали рыть погреб возле сарайчика, то и Казангап не остался в стороне. Втроем устроили небольшой погреб, сделали перекрытие из старых шпал, соломой, глиной сверху привалили, крышку сколотили наипрочнейшую, чтобы чья-либо скотина вдруг не провалилась в погреб. И что бы они ни делали, сновали и крутились под руками сынки абуталиповские. Пусть и мешали порой, но так веселей и милей было. Стали Едигей с Казангапом подумывать, как помочь Абуталипу хозяйством обзавестись, уже кое-что прикинули. Решили с весны выделить ему дойную верблюдицу. Главное, чтобы он доить научился. Ведь это не корова. Верблюдицу надо доить стоя. Ходить за ней по степи и, главное, сосунка сберегать, подпускать его к вымени вовремя и вовремя отнимать. Забот о нем немало. Тоже надо знать, что к чему...

Но больше всего радовало Буранного Едигея, что Абуталип не только за хозяйство принялся, не только постоянно с детьми обеих семей возился, учил с Зарипой их читать и рисовать, но, более того, пересиливая, преодолеывая боранлинскую глухомань, еще и собой занялся. Ведь Абуталип Куттыбаев был образованным человеком. Книжки читать, делать какие-то свои

записи – это просто было ему необходимо. Втайне Едигей гордился тем, что имел такого друга. Потому и тянулся к нему. И с Елизаровым, сарозекским геологом, часто бывавшим в этих местах, тоже ведь дружба возникла не случайно. Уважал Едигей ученых, много знающих людей. Абуталип тоже много знал. Просто он старался меньше размышлять вслух. Но был у них однажды разговор серьезный.

Возвращались к вечеру с путевых работ. В тот день они противоснежные щиты устанавливали на седьмом километре, где всегда заносы бушуют. Хотя осень еще только входила в силу, однако к зиме требовалось готовиться заблаговременно. Так вот, шли они домой. Хороший, светлый вечер установился, к разговору располагал. В такие вечера сарозекские окрестности, как дно Аральского моря с лодки в тихую погоду, лишь призрачно угадываются в дымке заката.

– А что, Абу, вечерами, как ни пройду мимо, голова твоя все над подоконником торчит. Пишешь что-то или чинишь что-то – лампа рядом? – спросил Едигей.

– Так это просто все, – охотно отозвался Абуталип, перекладывая лопату с одного плеча на другое. – Письменного стола у меня нет. Вот как только сорванцы мои улягутся, Зарипа читает что-нибудь, а я записываю кое-что, пока в памяти, – войну и, главное, мои югославские годы. Время идет, былое отодвигается все дальше. – Он помолчал. – Я все думаю, что могу сделать для своих детей. Кормить, поить, воспитывать – это само собой. Сколько смогу, столько смогу. Я прошел и испытал столько, сколько другому, дай Бог, за сто лет не придется, я еще живу и дышу, не зря, должно быть, судьба предоставляет мне такую возможность. Может быть, для того, чтобы я что-то сказал, в первую очередь своим детям. И мне положено отчитаться перед ними за свою жизнь, поскольку я породил их на свет, я так понимаю. Конечно, есть общая истина для всех, но есть еще у каждого свое понимание. А оно уйдет с нами. Когда человек проходит круги между жизнью и смертью в мировой сшибке сил и его могли, по меньшей мере, сто раз убить, а он выживает, то многое дается ему познать – добро и зло, истину и ложь...

– Постой, одно не пойму, – удивленно перебил его Едигей. – Может, ты и верные вещи говоришь, но сынки твои малыши, сопляки еще, парикмахерской машинки боятся – что они поймут?

– Потому и записываю. Для них хочу сохранить. Буду жив или нет, никому не знать наперед. Вот третьего дня задумался, как дурак, чуть под состав не попал. Казангап успел. Столкнул с места. Да заругался потом страшно: пусть, говорит, дети твои сегодня на коленях Господа Бога благодарят.

– И верно. Я тебе давно говорил. И Зарипе говорил, – возмутился, в свою очередь, Едигей и воспользовался случаем, чтобы еще раз высказать свои опасения. – Что ты ходишь по путям так, точно паровоз должен с рельсов сворачивать, дорогу тебе уступать? Грамотный человек, сколько можно тебе говорить? Ты теперь железнодорожник, а ходишь как на базаре. Попадешь, не шути.

– Ну, если такое случится, сам буду виноват, – мрачно согласился он. – Но ты все-таки послушай меня, потом будешь выговаривать.

– Да я так, к слову, говори.

– В прежние времена люди детям наследство оставляли. К добру ли, к худу ли оставалось то наследство – когда как. Сколько книг об этом написано, сказок, в театрах сколько пьес играют о тех временах, как делили наследство и что потом случилось с наследниками. А почему? Потому что наследства эти большей частью несправедливо возникали, на чужих тяготах да чужими трудами, на обмане, оттого изначально таят они в себе зло, грех, несправедливость. А я утешаю себя тем, что мы, слава богу, избавлены от этого. Мое наследство вреда никому не причинит. Это лишь мой дух, мои записи будут, а в них все, что я понял и вынес из войны. Большого богатства для детей у меня нет. Здесь, в сарозекских пустынях, пришел я к этой мысли. Жизнь все время оттесняла меня сюда, чтобы я затерялся, исчез, а я запишу для них

все, что думаю-гадаю, и в них, в детях своих, состоюсь когда-нибудь. То, чего не удалось мне, может быть, достигнут они... А жить им придется потрудней, чем нам. Так пусть набираются ума смолоду...

Некоторое время они шли молча, каждый занятый своими мыслями. Странно было Едигею слышать такие речи. Подивился он, что можно, оказывается, и эдак понимать свою суть на земле. И все-таки он решил выяснить то, что его поразило:

– Все думают, вон по радио говорят, что детям нашим будет жить лучше и легче, а тебе кажется, что им придется потрудней, чем нам. Атомная война будет, потому, что ли?

– Да нет, не только поэтому. Войны, может, и не будет, а если и будет, то не скоро. Не о хлебе речь идет. Просто колесо времени убыстряется. Им придется до всего самим доходить, своим умом, и за нас отвечать отчасти задним числом. А мыслить всегда тяжело. Потому им придется труднее, чем нам.

Едигей не стал уточнять, почему он считает, что мыслить всегда тяжело. И напрасно не стал, впоследствии очень сожалел, вспоминая этот разговор. Надо было порасспросить, вывести, в чем тут смысл...

– Я к чему это говорю, – как бы отзываясь на сомнения Едигея, продолжал Абуталип. – Для малых детей взрослые всегда кажутся умными, авторитетными. Вырастут, смотрят – а учителя-то, мы то есть, не так уж много знали и не такие уж умные, как казалось. Над ними и посмеяться можно, порой даже жалкими кажутся им постаревшие наставники. Колесо времени все быстрее и быстрее раскручивается. И, однако, о себе мы сами должны сказать последнее слово. Наши предки пытались делать это в сказаниях. Хотели доказать потомкам, какими они были великими. И мы судим теперь о них по их духу. Вот я и делаю что могу для подрастающих сыновей. Мои сказания – мои военные годы. Пишу для них свои партизанские тетради. Все как было, что видел и пережил. Пригодятся, когда подрастут. Но кроме этого тоже есть задумки кое-какие. В сарозеках придется им расти. Опять же, когда подрастут, пусть не думают, что на пустом месте жили. Песни наши записал старинные, их ведь тоже потом не сыщешь. Песня в моем понимании – весть из прошлого. Укубала твоя много их знает, оказывается. И еще обещала припомнить.

– Ну а как же! Все-таки аральская родом! – сразу возгордился Едигей. – Аральские казахи у моря. А на море петь хорошо. Море, оно все понимает. Что ни скажешь – от души и все к ладу на море.

– А это ты верно сказал, точно. Перечитал недавно записанное – чуть до слез с Зарипой не дошли. До чего красиво пели в старину! Каждая песня – целая история. Так и видишь тех людей. И хочется с ними быть душа в душу. И страдать и любить, как они. Вот ведь какую память оставили по себе. Я и Казангапову Букей сагитировал уже – вспоминай, говорю, свои каракалпакские песни, запишу в отдельную тетрадь. Будет у нас каракалпакская тетрадь...

И так они шли не спеша вдоль железнодорожной линии. Редкий час выдался. Облегченно, как протяжный вздох, замирал умиротворенный конец дня той предосенней поры. Казалось бы, ни лесов, ни рек, ни полей в сарозеках, но угасающее солнце создавало впечатление наполненности степи благодаря неуловимому движению света и тени по открытому лику земли. Смутная, текучая синева захватывающего дух простора возвышала мысли, вызывала желание долго жить и много думать...

– Слушай, Едигей, – заговорил снова Абуталип, вспомнив о том, что мысленно отложил и к чему должен был вернуться при случае. – Давно собираюсь спросить. Птица Доненбай. Как ты думаешь, наверно, есть такая птица в природе, которая так и называется – Доненбай. Тебе не приходилось встречать такую птицу?

– Так это же легенда.

– Понимаю. Но часто бывает, когда легенда подтверждается былью, тем, что есть в жизни. Ну вот, например, есть такая птица иволга, которая у нас в Семиречье целый день распевает

в горных садах и все спрашивает: «Кто мой жених?» Так тут просто игра, созвучие. И есть сказка об этом, почему она так поет. Вот я и думаю: нет ли такого созвучия и в этой истории? Может быть, существует в степи какая-то птица, которая кричит что-то похожее на имя человека Доненбай, и потому она оказалась в легенде?

– Нет, не знаю. Не думал об этом, что так, – засомневался Едигей. – Однако сколько уже езжу по здешним местам вдоль и поперек, но такой птицы не встречал. Должно быть, ее и нет.

– Возможно, – задумчиво отозвался Абуталип.

– А что, если нет такой птицы, так, выходит, все это неправда? – обеспокоился Едигей.

– Нет, почему же. Потому и стоит кладбище Ана-Бейит, и что-то здесь было. И еще я думаю почему-то, что такая птица есть. И ее кто-нибудь когда-нибудь встретит. Для детей я так и запишу.

– Ну, если для детишек, – неуверенно обронил Едигей, – тогда можно...

На памяти Буранного Едигея только два человека в свое время записывали сарозекскую легенду о Найман-Ане на бумагу. Вначале Абуталип Куттыбаев записал ее для своих детей на те времена, когда они подрастут, это было в конце пятидесят второго года. Рукопись та пропала. Сколько горя пришлось натерпеться после этого. До того ли было! Несколько лет спустя, году в пятьдесят седьмом, записал ее Елизаров Афанасий Иванович. Теперь его нет, Елизарова. А рукопись, кто его знает, наверно, в его бумагах осталась в Алма-Ате... И тот и другой записывали ее главным образом из уст Казангапа. Едигей присутствовал при том, но больше в качестве подсказчика-напоминателя и своего рода комментатора.

«Вот тебе и годы! Когда все это было-то, бог ты мой!» – думал Буранный Едигей, покачиваясь между горбами укрытого попоной Каранара. Теперь он вез самого Казангапа на кладбище Ана-Бейит. Круг как бы замыкался. Сказитель легенды теперь уже сам должен был обрести последнее упокоение на кладбище, историю которого хранил и передавал другим.

«Остались только мы – я и Ана-Бейит. Да и мне скоро предстоит прибыть сюда. Место свое занять. Дело идет к этому», – тоскливо размышлял по пути Едигей, все так же возглавляя на верблюде странную похоронную процессию, следовавшую за ним по степи на тракторе с прицепом и на замыкающем колесном экскаваторе «Беларусь». Рыжий пес Жолбарс, самовольно примкнувший к похоронам, позволял себе находиться то в голове, то в хвосте процессии, то сбоку, а то и отлучался ненадолго... Хвост он держал по-хозяйски твердо и по сторонам поглядывал деловито...

Солнце уже поднялось на макушку, полдень вступал. До кладбища Ана-Бейит оставалось не так много...

VIII

И все-таки конец пятидесят второго года, вернее, вся осень и зима, вступившая, правда, с опозданием, но без метелей, были, пожалуй, наилучшими днями для тогдашней горстки жителей разъезда Боранлы-Буранного. Едигей часто потом скучал по тем дням.

Казангап, патриарх боранлинцев, притом очень тактичный, никогда не вмешивавшийся не в свои дела, пребывал еще в полной силе и крепком здравии. Его Сабитжан уже учился в кумбельском интернате. Семья Куттыбаевых к тому времени прочно осела в сарозеках. К зиме утеплили барак, картошкой запаслись, валенки Зарипе и мальчишкам приобрели, муки целый мешок привезли из Кумбеля, сам Едигей привез вьюком из орса на вступавшем в ту пору в расцвет сил молодом Каранаре. Абуталип работал как полагается и все свободное время по-прежнему возился с ребятами, а по ночам усердно писал, примостившись с лампой на подоконнике.

Были еще две-три семьи станционных рабочих, но, по всему, временных людей на разъезде. Тогдашний начальник разъезда Абилов тоже казался недурным человеком. Никто из боранлинцев не болел. Служба шла. Дети росли. Все предзимние работы по заграждению и ремонту путей выполнялись в срок.

Погода стояла распрекрасная для сарозеков – коричневая осень, как хлебная корка! А потом зима подоспела. Снег лег сразу. И тоже красиво, белым-бело стало вокруг. И среди великого белого безмолвия черной ниточкой протянулись железная дорога, а по ней, как всегда, шли и шли поезда. И сбоку этого движения среди снежных всхолмлений притулился маленький поселочек – разъезд Боранлы-Буранный. Несколько домиков и прочее... Проезжие скользили равнодушным взглядом из вагонов, или на минутку просыпалась в них мимолетная жалость к одиноким жителям разъезда...

Но напрасной была та мимолетная жалость. Боранлинцы переживали хороший год, если не считать дикого летнего пекла, но то было уже позади. А вообще-то повсюду жизнь понемногу, со скрипом налаживалась после войны. К Новому году опять ожидали снижения цен на продукты и промтовары, и хотя в магазинах было далеко не всего навалом, но все-таки год от года лучше...

Обычно Новому году боранлинцы не придавали особого значения, не ждали с трепетом полуночи. Служба на разъезде шла невзирая ни на что, поезда двигались, ни на минуту не считаясь с тем, где и когда наступит Новый год в пути. Опять же зимой и по хозяйству дел прибавляется. Печи надо топить, за скотом больше присмотра и на выпасе и в загонах. Умается человек за день, и уж, кажется, ему лучше бы отдохнуть, лечь пораньше.

Так и шли годы один за другим...

А канун пятьдесят третьего года на Боранлы-Буранном был настоящим праздником. Праздник затеяла, конечно, семья Куттыбаевых. Едигей примкнул к новогодним приготовлениям уже под конец. Началось все с того, что Куттыбаевы решили устроить детям елку. А где взять елку в сарозеках, легче найти яйца ископаемого динозавра. Елизаров ведь обнаружил, бродя по геологическим тропам, миллионнолетние динозавровы яйца в сарозеках. В камень превратились те яйца, каждое величиной с огромный арбуз. Увезли находку в музей в Алма-Ату. Об этом в газетах писали.

Пришлось Абуталипу Куттыбаеву ехать по морозам в Кумбель и там добиться в станционном месткоме, чтобы одну из пяти елок, прибывших на такую большую станцию, все же отдали в Боранлы-Буранный. С этого все и пошло.

Едигей стоял как раз возле склада, получал у начальника разъезда новые рукавицы для работы, когда, морозно тормозя, остановился на первом пути закуржавелый со степного ветра товарняк. Длинный состав, сплошь пломбированные четырехосные вагоны. С открытой площадки последнего вагона, с трудом переставляя окоченевшие ноги в смерзшихся сапогах, спустился на землю Абуталип. Кондуктор состава, сопровождавший поезд, в огромном тулупе, в наглухо завязанной меховой шапке, неуклюже теснясь на площадке, стал подавать ему что-то громоздкое. Елка, догадался Едигей и удивился очень.

– Эй, Едигей! Буранный! Поди сюда, помоги человеку! – окликнул его кондуктор, свешиваясь всей тушей со ступеней вагона.

Едигей поспешил и, когда подошел, перепугался за Абуталипа. Белый до бровей, весь в снежной пороше, заоченел Абуталип так, что губы не двигаются. Рукой шевельнуть не может. А рядом елка, это колючее деревце, из-за которого Абуталип чуть не отправился на тот свет.

– Что ж это люди у вас так ездят! – прохрипел недовольно кондуктор. – Душа вон отлетит на ветрище сзади. Хотел тулуп свой скинуть, так сам застыну.

Едва совладав с губами, Абуталип извинился:

– Извините, так получилось. Я сейчас отогреюсь, тут рядом.

– Я ж ему говорил, – обращаясь к Едигею, бурчал кондуктор. – Я в тулупе, а под тулупом стеганая одежда, в валенках, в шапке, и то, пока сдам перегон, глаза на лоб лезут. Разве ж так можно!

Едигею было неловко:

– Хорошо, учтем, Трофим! Спасибо. Отправляйся, доброго тебе пути.

Он подхватил елку. Она была холодная, небольшая, с человека. Ощутил в хвое зимний лесной дух. Сердце екнуло – вспомнились фронтовые леса. Там такого ельника было видимо-невидимо. Танками валили, снарядами корчевали. А ведь не думалось, что когда-нибудь дорого станет запах еловый вдохнуть.

– Пошли, – сказал Едигей и взглянул на Абуталипа, вскидывая елку на плечо.

На стянутом холодом, с застывшими слезами на щеках сером лице Абуталипа сияли из-под белых бровей живые, радостные, торжествующие глаза. Едигею вдруг стало страшно: оценят ли дети его отцовскую преданность? Ведь в жизни сплошь и рядом бывает совсем наоборот. Вместо признательности – равнодушие, а то и ненависть. «Избави Бог его от такого. Хватит ему и других бед», – подумал Едигей.

Первым увидел елку старший из Куттыбаевых – Даул. Он радостно закричал и шмыгнул в двери барака. Оттуда выскочили без верхней одежды Зарипа и Эрмек.

– Елка, елка! Смотри, какая елка! – ликовал Даул, отчаянно прыгая вокруг.

Зарипа была обрадована не меньше:

– Ты все-таки достал ее! Как здорово!

А Эрмек, оказывается, никогда еще не видел елку. Он смотрел не отрываясь на ношу дяди Едигея.

– Мама, это елка, да? Она хорошая ведь, да? Она будет жить у нас дома?

– Зарипа, – сказал Едигей, – из-за этой, как говорят русские, елки-палки ты могла получить замороженного мужа. Давай побыстрее домой отогреть его. Прежде всего сапоги надо стянуть.

Сапоги примерзли. Абуталип морщился, стиснув зубы, стонал, когда все дружно пытались стащить их с ног. Детишки особенно усердствовали. То так, то эдак хватались они ручонками за тяжеленные яловые сапоги, каменно прихваченные морозом к ногам.

– Ребята, не мешайтесь, ребята, дайте я сама! – отгоняла их мать.

Но Едигей счел необходимым сказать ей вполголоса:

– Не тронь их, Зарипа. Пусть, пусть потрудятся.

Он нутром своим понял, что для Абуталипа это высшее воздаяние – любовь, сопереживание детей. Значит, они уже люди, значит, они уже что-то смыслят. Особенно трогательно и потешно было смотреть на младшего. Эрмек почему-то называл отца папикой. И никто его не поправлял, поскольку то было его собственной «модификацией» одного из вечных и первоначальных слов на устах людей.

– Папика! Папика! – озабоченно суетился он, покрасневшись от тщетных усилий. Его кудри распушились, глаза пылали желанием совершить нечто крайне необходимое, а сам он был так серьезен, что невольно хотелось засмеяться.

Конечно, надо было сделать так, чтобы ребята достигли своей цели. Едигей нашел способ. Сапоги к тому времени начали оттаивать и их можно было сдернуть, не причиняя особой боли Абуталипу.

– А ну, ребята, садись за мной. Будем как поезд – один другого тянуть. Даул, ты держись за меня, а ты, Эрмек, хватайся за Даула.

Абуталип понял замысел Едигея и одобрительно закивал, заулыбался сквозь слезы, наворачившиеся с холода в тепле.

Едигей сел напротив Абуталипа, за ним прицепились дети, и, когда они приготовились, Едигей начал стаскивать сапог.

– А ну, ребята, посильней, подружней тяните! А то я один не смогу. Сил не хватит. Давай-давай, Даул, Эрмек! Посильней!

Ребята пыхтели позади, всю стараясь помочь. Зарипа была болельщицей. Едигей нарочно делал вид, что ему трудно, и когда наконец первый сапог был снят, ребята победно закричали. Зарипа кинулась растирать мужу ступню шерстяным платком, но Едигей всех приостановил:

– А ну, ребята, а ну, мама! Вы что ж это? А второй сапог кто будет тянуть? Или так и оставим отца одна нога босая, а другая в мерзлом сапоге? Хорошо будет?

И все расхохотались отчего-то. Долго смеялись, катались по полу. Особенно ребята и сам Абуталип.

И кто знает, так думал потом об этом Буранный Едигей, много раз пытаясь отгадать ту страшную загадку, кто знает, быть может, именно в этот момент где-то очень далеко от Боранлы-Буранного имя Абуталипа Куттыбаева вновь всплыло в бумагах и люди, получившие ту бумагу, решили на ее основании вопрос, о котором никто ни сном ни духом не помышлял ни в этой семье, ни на разъезде.

Беда свалилась как снег на голову. Хотя, конечно, будь, скажем, Едигей поопытней в таких делах, похитрей, может, если бы и не догадался, то смутная тревога закралась бы в душу.

А отчего было тревожиться? Всегда поближе к концу года приезжал на разъезд участковый ревизор. По графику объезжал он разъезд за разъездом, от станции к станции. Приедет, день-два побудет, проверит, как зарплата выдавалась, как материалы расходовались и всякое прочее, напишет акт ревизии вместе с начальником разъезда и еще с кем-нибудь из рабочих и уедет с попутным. Сколько там делов-то, на разъезде? Едигей, бывало, тоже расписывался в актах ревизии. В этот раз ревизор дня три пробыл в Боранлы-Буранном. Ночевал в дежурном домике, в главном помещении разъезда, где была связь да комнатка начальника, именуемая кабинетом. Начальник разъезда Абилов все бегал, чай носил ему в чайнике. Заглянул к ревизору и Едигей. Сидел человек, дымил над бумагами. Едигей думал – может, кто из прежних знакомых, но нет, этот был незнакомый. Краснощекий такой, редкозубый, в очках, седеющий. Странная прилипающая улыбочка мелькнула в его глазах.

А поздно вечером встретились. Едигей возвращался со смены, смотрит – ревизор прохаживается возле дежурки под фонарем. Воротник мерлушковый поднял, в мерлушковой папаше, в очках, курит задумчиво, хрустит подошвами сапог по песочку.

– Добрый вечер. Что, покурить вышли? Нароботались? – посочувствовал ему Едигей.

– Да, конечно, – ответил тот, полуулыбаясь. – Нелегко. – И опять полуулыбнулся.

– Ну, ясно, конечно, – промолвил для приличия Едигей.

– Завтра с утра уезжаю, – сообщил ревизор. – Подойдет семнадцатый, приостановится. И я поеду. – Он опять полуулыбнулся. Голос у него был приглушенный, вымученный даже. А глаза смотрели с прищуром, вглядывались в лицо. – Так вы и будете Едигей Жангельдин? – осведомился ревизор.

– Да, я самый.

– Я так и думал. – Ревизор уверенно дынул дымом сквозь редкие зубы. – Бывший фронтовик. На разъезде с сорок четвертого. Путьцы Буранным прозывают.

– Да, верно, – простодушно отвечал Едигей. Ему было приятно, что тот так много знал о нем, но и удивился в то же время, как, зачем ревизор все это разузнал и запомнил.

– А у меня память хорошая, – полуулыбаясь, продолжал ревизор, видимо догадываясь, о чем думает Едигей. – Я ведь тоже пишу, как ваш Куттыбаев, – кивнул он, пуская струю дыма в сторону освещенного окна, в проеме которого склонялась, как всегда, над своими записями на подоконнике голова Абуталипа. – Третий день наблюдаю – все пишет и пишет. Понимаю. Сам пишу. Только я стихами занимаюсь. В деповской многотиражке почти каждый месяц печата-

юсь. У нас там кружок литературный. Я им руковожу. И в областной газете помещался – на Восьмое марта однажды, на Первое мая в нынешнем году.

Они помолчали. Едигей уже собирался попрощаться и уйти, но ревизор снова заговорил:

– А он о Югославии пишет?

– Честно говоря, не знаю толком, – ответил Едигей. – Кажется. Ведь он партизанил там. Он для детей своих пишет.

– Слышал. Я тут порасспросил Абилова. Он и в плену побывал, выходит. Вроде и учительствовал какие-то годы. А теперь решил проявить себя с помощью пера, – скрипуче хихикнул он. – Но это не так просто, как кажется. Я тоже задумываюсь над крупной вещью. Фронт, тыл, труд будет. Да времени у нашего брата вовсе нет. Все по командировкам...

– Он тоже, по ночам только. А днем работает, – вставил Едигей.

Они снова помолчали. И опять Едигей не успел уйти.

– Ну и пишет, ну и пишет, головы не поднимает, – все так же полуулыбаясь, ослабилась ревизор, вглядываясь в силуэт Абуталипа у окна.

– Так надо же чем-то заниматься, – ответил ему на то Едигей. – Человек грамотный. Вокруг никого и ничего. Вот и пишет.

– Ага, тоже идея. Вокруг никого и ничего, – прищуриваясь, что-то соображая, пробормотал ревизор. – А ты себе волен, а вокруг никого и ничего, тоже идея... А ты себе волен...

На том они попрощались. И в следующие дни нет-нет да мелькала мысль не забыть рассказать Абуталипу о том случайном разговоре с ревизором, да как-то не получалось, а потом и вовсе забылось.

Дел было много к зиме. И, главное, Каранар пришел в великое движение. Ведь морока, вот ведь где наказание хозяину! Как атанша¹⁴ Каранар созрел два года назад. Но в те два года еще не так бурно проявлялись его страсти, еще можно было с ним сладить, припугнуть, подчинить строгому окрику. К тому же старый самец в боранлинском стаде – давнишний казангаповский верблюд – не давал ему еще развернуться. Бил его, грыз, отгонял от маток. Но степь то широкая. С одного края отгонит, он с другого поспекает. И так целый день гонял его старый атан, а потом выбивался из сил. И тогда молодой да горячий атанша Каранар не мытьем, так катаньем достигал-таки своей цели.

Но в новый сезон, с наступлением зимних холодов, когда в крови верблюдов снова просыпался извечный зов природы, Каранар оказался верховным в боранлинском стаде. Достиг Каранар могущества, достиг сокрушающей силы. Запросто загнал старого казангаповского атана под обрыв и в безлюдной степи избил, истоптал, изгрыз его до полусмерти, благо некому было разнять их. В этом неумолимом законе природа была последовательна – теперь настал черед Каранара оставлять по себе потомство.

На этой почве, однако, Казангап с Едигеем впервые поссорились. Не стерпел Казангап при виде жалкого зрелища – затоптанного атана своего под обрывом. Вернулся с выпасов мрачный и бросил Едигею:

– Что же ты допускаешь такое дело? Они скоты, но мы-то с тобой люди! Это же смертоубийство учинил твой Каранар. А ты его спокойно отпускаешь в степь!

– Не отпускал я его, Казаке. Сам он ушел. Как мне его держать прикажешь? На цепях? Так он цепи рвет. Сам знаешь, не случайно сказано исстари: «Кюш атасын танымайды»¹⁵. Пришла его пора.

– А ты и рад. Но подожди, то ли еще будет. Ты его щадишь, не хочешь ему ноздри прокалывать для шиши¹⁶, но ты еще поплачешь, погоняешься за ним. Такой зверь в одном стаде не

¹⁴ *Атанша* – молоденький атан, молодой самец.

¹⁵ Сила отца не признает.

¹⁶ *Шиши* – деревянная заноза, продеваемая в верхние губы верблюда.

успокоится. Он пойдет по всем сарозекам биться. И никакого удержу ему не будет. Припомнишь тогда мои слова...

Не стал Едигей распалить Казангапа, уважал его, да и прав был тот вообще-то. Пробормотал примирительно:

– Сам же ты его мне подарил сосунком, а теперь ругаешься. Ладно, подумаю, что-нибудь сделаю, чтобы управу на него найти.

Но обезобразивать такого красавца, как Каранар, – прокалывать ему ноздри и продевать деревянную шишь – опять же рука не поднималась. Сколько раз потом действительно вспоминал он слова Казангапа и сколько раз, доведенный до бешенства, клялся, что не посмотрит ни на что, и все-таки не трогал верблюда. Подумывал одно время кастрировать и тоже не посмел, не пересилил себя. А годы шли, и всякий раз с наступлением зимних холодов начинались мытарства, поиски бушующего в гоне неистового Каранара...

С той зимы все и началось. Запомнилось. И пока умирал Каранара да приспособливал загон, чтобы накрепко запереть его, тут и Новый год подкатил. А Куттыбаевы как раз затеяли елку. Для всей боранлинской детворы большое событие было. Укубала с дочерьми прямо-таки перебрались в барак Куттыбаевых. Весь день занимались приготовлением и украшали елку. Идя на работу и возвращаясь с работы, Едигей тоже первым делом заходил взглянуть на елку у Куттыбаевых. Все красивей, все нарядней становилась она, расцветала в лентах и игрушках самодельных. Тут уж женщинам надо отдать должное – Зарипа и Укубала постарались ради малышей, все свое мастерство приложили. И дело было, пожалуй, не столько в самой елке, сколько в новогодних надеждах, в общем для всех безотчетном ожидании неких скорых и счастливых перемен.

Абуталип на этом не успокоился, вывел детвору во двор, и стали они катать большую снежную бабу. Вначале Едигей подумал, что они просто забавляются, а потом восхитился этой выдумкой. Огромная, почти в человеческий рост снежная бабища, эдакое смешное чудище с черными глазами и черными бровями из углей, с красным носом и улыбающейся пастью, с облезлым лисьим казангаповским малахаем на голове встала перед разъездом, встречая поезда. В одной «руке» баба держала железнодорожный зеленый флажок – путь открыт, а в другой фанеру с поздравлением: «С Новым, 1953 годом!» Здорово тогда получилось! Эта баба долго стояла еще и после 1 января...

31 декабря уходящего года днем до самого вечера боранлинские дети играли вокруг елки и во дворе. Там же были заняты и взрослые, свободные от дежурств. Абуталип рассказывал с утра Едигею, как рано утром приползли к нему в постель ребята, сопят, возятся, а он прикинулся крепко спящим.

– Вставай, вставай, папика! – Эрмек тормозит. – Скоро Дед Мороз приедет. Пойдем встречать.

– Хорошо, – говорю. – Вот сейчас встанем, умоемся, оденемся и пойдем. Обещал приехать.

– А каким поездом? – Это старший спрашивает.

– А любим, – говорю, – для Деда Мороза любой поезд остановится даже на нашем разъезде.

– Тогда надо вставать побыстрее!

Да, значит, собираемся торжественно, серьезно так.

– А как же мама? – спрашивает Даул. – Она ведь тоже хочет увидеть Деда Мороза?

– Конечно, – говорю, – а как же. Зовите и ее.

Собрались и все вместе вышли из дома. Ребята побежали вперед к дежурке. Мы за ними. Бегают ребята вокруг да около, а Деда Мороза нет.

– Папика, а где же он?

Глаза у Эрмека, знаешь, такие – хлоп-хлоп.

– Сейчас, – говорю, – не спешите. Узнаю у дежурного.

Вхожу в дежурку, я там с вечера припрятал записку от Деда Мороза и мешочек с подарками. Вышел, они ко мне:

– Ну что, папика?

– Да вот, – говорю, – оказывается, Дед Мороз оставил вам записку, вот она: «Дорогие мальчуганы – Даул и Эрмек! Я приехал на ваш знаменитый разъезд Боранлы-Буранный рано утром, в пять часов. Вы еще спали, было очень холодно. Да и сам я холодный, борода вся из морозной шерсти у меня. А поезд остановился только на две минутки. Вот успел записку написать и оставить подарки. В мешочке всем ребятам разъезда от меня по одному яблоку и по два ореха. Не обижайтесь, дел у меня впереди много. Поеду к другим ребятам. Они меня тоже ждут. А к вам на следующий Новый год постараюсь приехать так, чтобы мы встретились. А пока до свидания. Ваш Дед Мороз, Аяз-ата». Постой-постой, а тут еще какая-то приписка. Очень торопливо, неразборчиво написано. Наверно, уже поезд отходил. А, вот, разобрал: «Даул, не бей свою собачку. Я слышал, как однажды она громко заскулила, когда ты ударил ее калошей. Но потом я больше не слышал. Наверно, ты стал лучше к ней относиться. Вот и все. Еще раз ваш Аяз-ата». Постой-постой, тут еще что-то накорябано. А, понял: «Снежная баба у вас очень здорово получилась. Молодцы. Я поздоровался с ней за руку».

Ну, они, конечно, обрадовались. Записка Деда Мороза убедила их сразу. Никаких обид. Только начали спорить, кто понесет мешочек с подарками. Тут мать рассудила их:

– Сначала десять шагов понесет Даул, он старший. А потом десять шагов ты, Эрмек, ты младший...

Посмеялся от души и Едигей: «Надо же, будь я на их месте, тоже поверил бы».

Зато днем среди детворы самым популярным был дядя Едигей. Устроил он им катание на санях. У Казангапа водились сани давнишние. Запрягли казангаповского верблюда, смиренного и хорошо идущего в нагрудном хомуте, Каранара нельзя было, конечно, допускать к таким делам. Запрягли и поехали всей гурьбой. То-то было шуму. Едигей был за кучера. Детишки липли, все хотели посидеть рядом с ним. И все просили: «Быстрее, быстрее поехали!» Абуталип и Зарипа то шли, то бежали рядом, но на спусках присаживались на край саней. Отъехали от разъезда километра на два, развернулись на пригорке, назад со спуска покатали. Запыхался упряжной верблюд. Передохнуть требовалось.

Хороший выдался день. Над безбрежно белыми, заснеженными сарозеками, сколько хватало глаз и слуха, лежала белая первозданная тишина. Вокруг, таинственно укрытая снегом, простиралась степь – грядами, холмами, равнинами, небо над сарозеками излучало матовый отсвет и кроткое полуденное тепло. Ветерок чуть слышно ластился к уху. А впереди по железной дороге шел длинный красно-охряной состав, и два черных паровоза, сцепленных цугом, тащили его, дыша в две трубы. Дым из труб зависал в воздухе медленно тающими, плывущими кольцами. Приближаясь к семафору, ведущий паровоз дал сигнал – длинный, могучий гудок. Дважды повторил, неся о себе весть. Поезд был сквозной, он прошумел через разъезд, не сбавляя скорости, – мимо семафоров и полдюжины домиков, неловко прилепившихся почти у самой линии, хотя столько простора было вокруг. И снова все стихло и замерло. Никакого движения. Лишь над крышами боранлинских домов вились сизые печные дымки. Все замолчали. Даже разгоряченные ездой ребятишки присмирели в ту минуту. Зарипа промолвила негромко, только для мужа:

– Как хорошо и как страшно!

– Ты права, – так же негромко отозвался Абуталип.

Едигей глянул на них искоса, не поворачивая головы. Они стояли, очень похожие друг на друга. Негромко, но внятно произнесенные слова Зарипы огорчили Едигея, хотя и не ему были предназначены. Он понял вдруг, с какой тоской и страхом смотрела она на эти домики

с вьющимися дымками. Но ничем и никак Едигей не мог им помочь, ибо то, что ютилось у железной дороги, было единственным пристанищем для всех них.

Едигей понукнул упряжного верблюда. Стеганул бичом. И сани покатались назад к разъезду...

Вечером накануне новогодней ночи все боранлинцы собрались у Едигея и Укубалы – так порешили Едигей и Укубала еще несколько дней назад.

– Раз уж вновь прибывшие Куттыбаевы устроили елку для всей детворы, нам сам Бог велел, – сказала Укубала, – не будем скупиться.

Едигей только обрадовался этому. Правда, далеко не все смогли присутствовать – иные дежурили на линии, а другим дежурство предстояло с вечера. Поезда-то шли, не считаясь ни с праздниками, ни с буднями. Казангапу удалось посидеть только вначале. К девяти вечера он отправился на стрелку, да и Едигею по графику требовалось с шести часов утра первого января быть на линии. Такова служба. И все-таки вечер получился на славу. Все были в приподнятом настроении и, хотя виделись по десять раз на дню, к встрече приоделись, ровно издалека прибывшие гости. Укубала отличилась – наготовила всякой снеди. Выпить тоже было что – водка, шампанское. А кто желал, тому зимний шубат был готов от прояловавшихся верблюдиц, и зимой их выдаивала неутомимая казангаповская Букей.

Но праздник стал праздником, когда после закусок и первых рюмок начали петь. Наступила такая минута, когда улеглись первые хлопоты хозяев, исчезла напряженность гостей и можно было не спеша, не отвлекаясь по мелочам, отдаться редкому душевному удовольствию – и пображничать и пообщаться с теми, кого каждый день видишь и хорошо знаешь, но и в них находишь новизну, потому что праздник имеет свойство преображать людей. Бывает, что и в другую сторону. Но не здесь, не среди боранлинцев. Жить в сарозеках да еще слыть неуживчивым или скандалистом... Едигей захмелел слегка. Однако ему это очень шло. Укубала без особой тревоги напомнила мужу:

– Не забудь завтра в шесть утра на работу.

– Все ясно, Уку. Понял, – ответил он.

Сидя возле Укубалы, обнимая ее за шею, он тянул песню, правда иногда невпопад, но усердно, и тем создавал мощный шумовой эффект. Он пребывал в том отличном состоянии духа, когда ясность ума и восторженность чувств совмещаются без ущерба. За песней он умиленно вглядывался в лица гостей одаряя всех веселой сердечной улыбкой, уверенный, что всем так же хорошо, как ему. И был он красив, тогда еще чернобровый и черноусый Буранный Едигей с поблескивающими карими глазами и крепким рядом белых цельных зубов. И самое сильное воображение не помогло бы представить, каким он будет в старости. На всех хватало у него внимания. Похлопывая по плечу полнеющую добрую Букей, он называл ее боранлинской мамой, предлагал за нее тосты, в ее лице – за весь каракалпакский народ, пребывающий где-то на берегах Амударьи, и уговаривал ее не расстраиваться из-за того, что Казангапу пришлось покинуть стол ради работы.

– Он мне и так надоел! – задорно отвечала Букей.

Свою Укубалу Едигей называл в тот вечер только полным, расшифрованным именем: Уку баласы – дите совы, совенок. Для каждого находилось у него доброе, душевное слово, в том тесном кругу все были для него родными братьями и сестрами, вплоть до начальника разъезда Абидова, тяготящегося службой мелкого путевого работника в сарозеках, и его бледной беременной жены Сакен, которой предстояло в скором времени отправиться в стационарный роддом в Кумбеле. Едигей искренне верил, что все обстоит именно так, что его окружают нерасторжимо близкие люди, да и как могло быть иначе, стоило среди песни на миг зажмурить глаза – и представлялась огромная заснеженная пустыня сарозеков и горстка людей в его доме, собравшихся как одна семья. Но больше всего радовался он за Абуталипа и Зарипу. Эта пара стоила того. Зарипа и пела, и играла на мандолине, быстро подбирая мотивы сменяющих одна

другую песен. Голос у нее был звонкий, чистый, Абуталип вел с грудной приглушенной протяжностью, пели задушевно, слаженно, особенно песни на татарский лад, их они пели алмак-салмак – отвечая друг другу. Песню вели они, а остальные им подпевали. Уже многое перебрали из старинных и новых песен и не уставали, а, наоборот распевались все азартнее. Значит, гостям было хорошо. Сидя напротив Зарипы и Абуталипа, Едигей не отрываясь смотрел на них и умилялся – такими они и должны были быть всегда, если б не горькая судьбина, не дающая им продыху. В страшный летний зной Зарипа ходила испепеленная, как обгорелое при пожаре деревце, с пожухлыми до корней бурыми волосами и полопавшимися в кровь черными губами, сейчас же она была неузнаваема. Черноглазая, с сияющим взором, открытым, по-азиатски гладким, чистым лицом, сегодня она была прекрасна. Ее настроение лучше всего передавали четкие, подвижные брови, которые пели вместе с ней, то вскидываясь, то хмурясь, то разбегаясь в полете давно возникших песен. С особым чувством выделяя значение каждого слова, вторил ей Абуталип, раскачиваясь из стороны в сторону:

...Как след подпружный на боку иноходца,
Дни ушедшей любви не сотрутся из памяти...

А руки Зарипы, перебирая струны мандолины, заставляли звенеть и стонать музыку в тесном кругу в новогоднюю ночь. Плыла Зарипа в песне, и чудилось Едигею, что была она где-то далеко, бежала, дыша легко и свободно, по снегам сарозеков в этой своей сиреневой вязаной кофточке с белым отложным воротничком, со звенящей мандолиной, и тьма расступалась вокруг, и, удаляясь, она исчезала в тумане, только слышна была мандолина, но, вспомнив, что и на боранлинском разъезде есть люди и что им будет худо без нее, возвращалась Зарипа и снова возникала поющей за столом...

Потом Абуталип показывал, как они танцевали в партизанах, положив руки друг другу на плечи и перебирая в такт ногами. Зарипа подыгрывала, а Абуталип пел задорную сербскую песню, и все они танцевали в кругу, положив руки на плечи друг другу и покрикивая: «Опля, опля...»

Потом еще пели и еще выпили, чокнулись, поздравили с Новым годом, кто-то уходил, кто-то приходил... Начальник разъезда и его беременная жена ушли еще до танцев. И так протекала ночь.

Зарипа вышла подышать, следом и Абуталип. Укубала заставляла всех одеваться, чтобы не выходили распаренными на холод. Зарипа и Абуталип долго не возвращались. Едигей решил пойти за ними, без них не тот получался праздник. Его окликнула Укубала:

– Оденься, Едигей, куда ты так, простынешь!

– Я сейчас. – Едигей вышел за порог в холодную ясность полуночи. – Абуталип, Зарипа! – позвал он, оглядываясь по сторонам.

Никто не откликнулся. За домом услышал голоса. И остановился в нерешительности, не зная, как поступить: то ли уйти, то ли, наоборот, подойти к ним и увести домой. Что-то происходило между ними.

– Я не хотела, чтобы ты видел, – всхлипывала Зарипа. – Прости. Просто мне стало тяжело. Прости, пожалуйста.

– Я понимаю, – успокаивал ее Абуталип. – Я все понимаю. Но дело ведь не во мне, что я именно такой. Если бы это касалось только меня. Боже мой, одной жизнью больше, другой меньше. Можно было бы и не цепляться так отчаянно. – Они помолчали, и потом он сказал: – Дети наши избавятся... И на это вся надежда...

Недопонимая, в чем дело, Едигей осторожно отступил, передергивая плечами от холода, и неслышно вернулся. Когда он вошел в дом, ему показалось, что все потускнело и праздник исчерпался. Новый год Новым годом, но пора и честь знать.

5 января 1953 года в десять часов утра на разъезде Боранлы-Буранный сделал остановку пассажирский поезд, хотя все пути перед ним были открыты и он мог, как всегда, проследовать без задержки. Поезд простоял всего полторы минуты. Этого было, видимо, вполне достаточно. Трое – все в черных хромовых сапогах одинакового фасона – сошли с подножки одного из вагонов и направились прямо в дежурное помещение. Шли молча и уверенно, не оглядываясь по сторонам, лишь на секунду задержались возле снежной бабы. Молча посмотрели на надпись на куске фанеры, приветствующую их, да глянули на дурацкий малахай, старый, облезлый казангаповский малахай, напыленный на голову бабы. И с тем прошли в дежурку.

Через некоторое время из дверей выскочил начальник разъезда Абилов. Чуть было не столкнулся со снежной бабой. Выругался и поспешно пошел дальше, почти побежал, чего с ним никогда не бывало. Минут через десять, запыхавшись, он уже возвращался назад, ведя с собой Абуталипа Куттыбаева, которого срочно разыскал на работе. Абуталип был бледен, шапку держал в руке. Вместе с Абиловым он вошел в дежурное помещение. Однако очень скоро вышел оттуда в сопровождении двух приезжих в хромовых сапогах, и все они направились в барак, где жили Куттыбаевы. Оттуда они вскоре вернулись, опять же неотступно сопровождая Абуталипа, неся какие-то бумаги, взятые в его доме.

Потом все стихло. Никто не выходил и не входил в дежурное помещение.

Едигей узнал о случившемся от Укубалы. Она добежала по поручению Абилова на четвертый километр, где проводились в тот день ремонтные работы. Отозвала Едигея в сторону:

– Абуталипа допрашивают.

– Кто допрашивает?

– Не знаю. Какие-то приезжие. Абилов велел передать, что если не будут допытываться, то не говорить, что на Новый год были вместе с Абуталипом и Зарипой.

– А что тут такого?

– Не знаю. Он так просил сказать тебе. И велел тебе к двум часам быть на месте. У тебя тоже хотят что-то спросить, узнать насчет Абуталипа.

– А что узнавать?

– Откуда я знаю. Пришел перепуганный Абилов и говорит – так и так. А я к тебе.

К двум часам и без того ходил Едигей домой обедать. По пути, да и дома все пытался взять в толк, что случилось. Ответа не находил. Разве что за прошлое, за плен? Так давно уже проверили. А что еще? Тревожно, плохо стало на душе. Хлебнул две ложки лапши и отставил в сторону. Посмотрел на часы. Без пяти два. Раз велели в два, значит, в два. Вышел из дома. Возле дежурки прохаживался взад-вперед Абилов. Жалкий, смятый, подавленный.

– Что случилось?

– Беда, беда, Едике, – заговорил Абилов, робко поглядывая на дверь. Губы у него мелко дрожали. – Куттыбаева засадили.

– А за что?

– Какие-то запрещенные писания нашли у него. Ведь все вечера что-то писал. Это же все знают. И вот дописался.

– Так это он для детей своих.

– Не знаю, не знаю, для кого. Я ничего не знаю. Иди, тебя ждут.

В комнатухе начальника разъезда, именуемой кабинетом, его ждал человек примерно одного возраста с ним или помоложе немного, лет тридцати, плотный, большеголовый, подстриженный ежиком. Мясистый, ноздрястый нос припотевал от напряжения мысли, он что-то читал. Он вытер нос платком, хмурия тяжелый высокий лоб. И потом на протяжении всего их

разговора он то и дело обтирал постоянно припотевавший нос. Он достал из лежащей на столе пачки «Казбека» длинную папиросину, покрутил ее, закурил и, вскинув на Едигея, стоявшего в дверях, ясные, как у кречета, желтоватые глаза, сказал коротко:

– Садись.

Едигей сел на табурет перед столом.

– Что ж, чтоб не было никаких сомнений, – произнес кречетоглазый, достал из нагрудного кармана гражданского кителя какую-то коричневую корочку, распахнул ее и тут же убрал, буркнув при этом что-то, то ли «Тансыкбаев», то ли «Тысыкбаев», Едигей так и не запомнил толком его фамилию.

– Понятно? – спросил кречетоглазый.

– Понятно, – вынужден был ответить Едигей.

– Ну, в таком случае приступим к делу. Говорят, ты лучший друг-товарищ Куттыбаева?

– Может быть, и так, а что?

– Может быть, и так, – повторил кречетоглазый, затягиваясь «казбечиной» и как бы уясняя услышанное. – Может быть, и так. Допустим. Ясно. – И бросил вдруг с неожиданной усмешкой, с радостным, предвкушаемым удовольствием, вспыхнувшим в его четких, как стекло, глазах: – Ну что, друг любезный, пописываем?

– Что пописываем? – смутился Едигей.

– Это я хочу узнать.

– Я не понимаю, о чем речь.

– Неужто? А? Ну-ка подумай!

– Не понимаю, о чем речь.

– А что пишет Куттыбаев?

– Не знаю.

– Как не знаешь? Все знают, а ты не знаешь?

– Знаю, что он что-то пишет. А что именно, откуда мне знать. Какое мне дело? Охота человеку писать – пусть себе пишет. Кому какое дело?

– То есть как кому какое дело? – удивленно встрепенулся кречетоглазый, устремляя в него пронзительные, как пули, зрачки. – Значит, кто что хочет, то пусть и пишет? Это он тебя убедил?

– Ничего он меня не убеждал.

Но кречетоглазый не обратил внимания на его ответ. Он был возмущен:

– Вот она, вражеская агитация! А ты подумал, что будет, если любой и каждый начнет заниматься писаниной? Ты подумал, что будет? А потом любой и каждый начнет высказывать что ему в голову взбредет! Так, что ли? Откуда у тебя эти чуждые идеи? Нет, дорогой, такого мы не допустим. Такая контрреволюция не пройдет!

Едигей молчал, подавленный и удрученный обрушенными на него словами. И очень удивился, что ничего вокруг не изменилось. Как будто бы ничего не происходило. Видел через окно, как прошел, мелькая, ташкентский поезд, и представил себе на секунду: едут люди в вагонах по своим делам и нуждам, пьют чай или водку, ведут свои разговоры и никому нет дела, что в это время на разъезде Боранлы-Буранный сидит он перед невесть откуда свалившимся на голову кречетоглазым; и до саднящей боли в груди хотелось ему выскочить из дежурки, догнать уходящий поезд и уехать на нем хоть на край света, только бы не находиться сейчас здесь.

– Ну что? Доходит до тебя суть вопроса? – продолжал кречетоглазый.

– Доходит, доходит, – ответил Едигей. – Только одно я хочу узнать. Ведь это он для детей своих хотел воспоминания описать. Как, что было с ним, скажем, на фронте, в плену, в партизанах. Что тут плохого?

– Для детей! – воскликнул тот. – Да кто этому поверит! Кто пишет для детей своих, которым без году неделя! Сказки! Вот как действует опытный враг! Упрятался в глуши, где никого и ничего вокруг, где никто за ним не следит, а сам принялся пописывать свои воспоминания!

– Ну, захотелось так человеку, – возразил Едигей. – Захотелось ему, наверно, свое личное слово сказать, что-то от себя, какие-то мысли от себя, чтобы они, дети его, почитали, когда вырастут.

– Какое еще личное слово! Это еще что такое? – укоризненно качая головой, вздохнул кречетоглазый. – Какие еще мысли от себя, что значит личное слово? Личное воззрение, так, что ли? Особое, личное мнение, что ли? Не должно быть никакого такого личного слова. Все, что на бумаге, это уже не личное слово. Что написано пером, того не вырубить топором. Каждый еще будет мысли от себя высказывать. Очень жирно будет. Вот они его так называемые «Партизанские тетради», вот в подзаголовке – «Дни и ночи в Югославии», вот они! – Он бросил на стол три толстые общие тетради в клеенчатых переплетах. – Безобразие! А ты тут пытаешься выгородить своего приятеля. А мы его изобличили!

– В чем вы его изобличили?

Кречетоглазый дернулся на стуле и опять бросил с неожиданной усмешкой, с предвкушением удовольствия и злорадства, не мигая и не сводя ясных прозрачных глаз:

– Ну это позволь уж нам знать, в чем мы его изобличили. – Смакуя каждое слово, произнес, упиваясь произведенным эффектом: – Это наше дело. Докладывать каждому не стану.

– Ну что ж, если так, – растерянно промолвил Едигей.

– Его враждебные воспоминания не пройдут ему даром, – заметил кречетоглазый и принялся что-то быстро писать, приговаривая: – Я думал, что ты поумней, что ты наш человек. Передовой рабочий. Бывший фронтовик. Поможешь нам разоблачить врага.

Едигей нахохлился и сказал негромко, но внятно, тоном, не оставляющим сомнений:

– Я ничего подписывать не буду. Это я вам сразу говорю.

Кречетоглазый вскинул уничтожающий взгляд.

– А нам и не нужна твоя подпись. Ты думаешь, если ты не подпишешь, то делу пшик? Ошибаешься. У нас достаточно материалов для того, чтобы привлечь его к суровой ответственности и без твоей подписи.

Едигей умолк, чувствуя униженность, жгучую опустошенность. Одновременно росло, как волна на Аральском море, возмущение, негодование, несогласие с происходящим. Ему вдруг захотелось придушить этого кречетоглазого, как бешеную собаку, и он знал, что смог бы это сделать. Уж какая жилистая и крепкая была шея у того фашиста, которого ему пришлось удавить собственными руками. Другого выхода не было. Они столкнулись с ним неожиданно лицом к лицу в траншее, когда выбивали с позиции противника. Зашли с фланга, забрасывая траншею гранатами и простреливая проходы очередями автоматов, и уже очистили линию и устремились с боем дальше, когда вдруг сшиблись с ним в упор. Видимо, то был пулеметчик, стрелявший до последнего патрона. Лучше было взять его в плен. Эта мысль мелькнула в сознании Едигея. Но тот успел занести нож над головой. Едигей боднул его каской в лицо, и они повалились. И уже ничего не оставалось, как вцепиться ему в горло. А тот изворачивался, хрипел, скреб пальцами по сторонам, пытаясь нашарить выбитый из рук нож. И каждое мгновение Едигей ожидал, что вонзится нож ему в спину, и поэтому с неослабевающим, нечеловеческим, звериным усилием сжимал, стискивал, рыча, хрящастую шею оскалившегося, почерневшего врага. И когда тот задохнулся и резко запахло мочой, он разжал сцепившиеся в судороге пальцы. Его вырвало тут же, и, обливаясь собственной блевотиной, он пополз подальше со стоном и мутью в глазах. Об этом он никому не рассказал ни тогда, ни после. Кошмар этот снился иногда ему, и на другой день он не находил себе места, жить не хотелось... Об этом вспомнил Едигей сейчас с содроганием и омерзением. Однако он сознавал, что кречетоглазый берет хитростью и превосходством в уме. Это его задело за живое. Пока тот писал,

Едигей пытался найти слабину в доводах кречетоголового. Из сказанного кречетоголовым одна мысль поразила Едигея своей алогичностью, каким-то дьявольским несоответствием: как это можно обвинять кого-либо во «враждебных воспоминаниях»? Разве могут быть воспоминания человека враждебными или невраждебными, ведь воспоминания – это то, что было когда-то в прошлом, это то, чего уже нет, что было в минувшем времени. Значит, человек вспоминает о том, как то было в действительности.

– Я хочу знать, – промолвил Едигей, чувствуя, как пересыхает в горле от волнения. Но он заставил себя произнести эти слова очень спокойно. – Вот ты говоришь... – Он нарочно назвал его на «ты», чтобы тот понял, что Едигею нечего лебезить и бояться, дальше сарозеков гнать его некуда. – Вот ты говоришь, – повторил он, – враждебные воспоминания. Как это понимать? Разве могут быть воспоминания враждебными или невраждебными? По-моему, человек вспоминает то, что было и как было когда-то, чего уже нет давно. Или, выходит, если хорошее – вспоминай, а если плохое – не вспоминай, забудь? Такого вроде никогда и не было. Или, выходит, если какой сон приснится и о нем, о сне, надо вспоминать? А если сон страшный, неуютный кому?..

– Вот ты какой! Хм, черт возьми! – подивился кречетоголовый. – Порассуждать любишь, поспорить захотел. Ты тут, никак, местный философ. Что ж, давай. – Он сделал паузу. И как бы примерился, изготавился и изрек: – В жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли что было и как было! Важно вспоминать, нарисовать прошлое устно или тем более письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и не следует вспоминать. А если не придерживаешься этого, значит, вступаешь во враждебное действие.

– Я не согласен, – сказал Едигей. – Такого не может быть.

– А никто и не нуждается в твоем согласии. Это ведь к слову. Ты спрашиваешь, а я объясняю по доброте своей. А вообще-то я не обязан вступать с тобой в такие разговоры. Ну хорошо, давай перейдем от слов к делу. Скажи мне, когда-нибудь Куттыбаев, ну, скажем, в откровенной беседе, за выпивкой, допустим, не называл тебе какие-нибудь английские имена?

– А зачем это? – искренне изумился Едигей.

– А вот зачем. – Кречетоголовый открыл одну из «Партизанских тетрадей» Абуталипа и зачитал подчеркнутое красным карандашом место: «27 сентября к нам в расположение прибыла английская миссия – полковник и два майора. Мы прошли перед ними парадным маршем. Они нас приветствовали. Потом был общий обед в палатке у командиров. Туда пригласили и нас, нескольких человек иностранных партизан среди югославов. Когда меня познакомили с полковником, он очень любезно пожал мне руку и все расспрашивал через переводчика, откуда я и как сюда попал. Я коротко рассказал. Мне налили вина, и я тоже выпил вместе с ними. И потом еще долго разговаривали. Мне понравилось, что англичане простые, откровенные люди. Полковник сказал, что великое счастье, или, как он выразился, Провидение, помогло нам в том, что мы все в Европе объединились против фашизма. А без этого борьба с Гитлером стала бы еще тяжелей, а возможно, кончилась бы трагическим исходом для разрозненных народов», – и так далее. – Закончив цитировать, кречетоголовый отложил тетрадь в сторону. Закурил еще одну «казбечину» и, помолчав, попыхивая дымом, продолжал: – Выходит, Куттыбаев не возразил английскому полковнику, что без гения Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они ни крутились там, в Европе, в партизанах или еще как угодно. Значит, он товарища Сталина и в мыслях не держал! Это до тебя доходит?

– А может быть, он говорил об этом, – Едигей пытался защитить Абуталипа, – да просто забыл написать.

– А где об этом сказано? Не докажешь! Больше того, мы сверились с показаниями Куттыбаева в сорок пятом году, когда он проходил проверочную комиссию по возвращении из юго-

славского партизанского соединения. Там случай с английской миссией не упоминался. Значит, здесь что-то нечисто. Кто может поручиться, что он не был связан с английской разведкой!

Опять Едигею стало тяжело и больно. Не понимал он, что тут к чему и куда клонит кречетоглазый.

– Куттыбаев тебе что-нибудь не говорил, подумай, не называл имен английских? Нам важно знать, кто были эти, из английской миссии.

– А какие имена у них бывают?

– Ну, например, Джон, Кларк, Смит, Джек...

– Сроду таких не слышал.

Кречетоглазый задумался, помрачнел, не все, должно быть, устраивало его во встрече с Едигеем. Потом он сказал несколько вкрадчиво:

– Он что тут, школу какую-то открывал, детей учил?

– Да какая там школа! – невольно рассмеялся Едигей. – Двое у него детишек. И у меня две девочки. Вот и вся школа. Старшим по пять лет, младшим по три. Детям некуда у нас деваться, кругом пустыня. Занимают они детишек, воспитывают, значит. Все-таки бывшие учителя – и он и жена его. Ну, читают там, рисуют, учат что-то писать, считать. Вот и вся школа.

– Какие песенки они пели?

– Да всякие. Детские. Я и не помню.

– А чему он их учил? Что они писали?

– Буквы. Слова какие-то обычные.

– Какие, например, слова?

– Ну какие! Я не помню.

– Вот эти! – Кречетоглазый нашел среди бумаг листочки из ученических тетрадей с детскими каракулями. – Вот это первые слова. – На листочке было написано детской рукой: «Наш дом». – Вот видишь, первые слова, которые пишет ребенок, – «наш дом». А почему не «наша победа»? Ведь первым словом должно быть на устах сейчас, ну-ка подумай, что? Должно быть – «наша победа». Не так ли? А ему почему-то в голову это не приходит? Победа и Сталин неразделимы.

Едигей замаялся. Он чувствовал себя настолько униженным всем этим и так жалко стало ему Абуталипа и Зарипу, которые столько сил и времени отдавали возне с неразумными детьми, такое зло взяло его, что он осмелился:

– Если уж так, то надо бы первым долгом писать «наш Ленин». Все-таки Ленин на первом месте стоит.

Кречетоглазый задержал от неожиданности дыхание, долго затем выдыхая дым из легких. Встал с места. Видимо, потребовалось пройтись, да некуда было в этой комнатухе.

– Мы говорим – Сталин, подразумеваем – Ленин! – произнес он отрывисто и чеканно. Потом задышал облегченно, как после бега, и добавил примирительно: – Хорошо, будем считать, что этого разговора между нами не было.

Он сел, и снова на непроницаемом лице отчетливо обозначились невозмутимые, ясные, как у кречета, глаза с желтоватым оттенком.

– У нас есть сведения, что Куттыбаев выступал против обучения детей в интернатах. Что ты скажешь, при тебе, оказывается, было дело?

– Откуда такие сведения? Кто дал такие сведения? – поразился Едигей, и сразу мелькнула догадка: Абилов, начальник разезда во всем повинен, это он донес, ибо разговор такой происходил в его присутствии.

Вопрос Едигея не на шутку разозлил кречетоглазого:

– Слушай, я уже давал тебе понять: откуда сведения, какие сведения – это наша забота. И мы ни перед кем не отчитываемся. Запомни. Выкладывай, что он говорил?

– Да что он говорил? Надо припомнить. Значит, у нашего самого старого рабочего на разъезде, Казангапа, сын учится в интернате на станции Кумбель. Ну, мальчишка, ясно дело, немного хулиганит, обманывает, бывает. А тут на первое сентября стали Сабитжана снова собирать на учебу. Отец повез его на верблюде. А мать, жена, значит, Казангапа, Букей, стала плакать, жаловаться – беда, говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, говорит, того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина. Конечно, и учить надо сына, и в отдалении он постоянно...

– Ну хорошо, – перебил его кречетоглазый. – А что сказал Куттыбаев при этом?

– Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать, говорит, сердцем чувствует неладное. Потому что интернатское обучение не от хорошей жизни. Интернат вроде бы отнимает, ну, не отнимает, отдаляет ребенка от семьи, от отца, матери. Что это, в общем, очень трудный вопрос. Для всех трудный – и для него и для других. Но что поделаешь, раз нет возможностей других. Я его понимаю. У нас тоже дети подрастают. И уже сейчас душа болит, как оно будет, что из этого выйдет. Плохо, конечно...

– Это потом, – остановил его кречетоглазый. – Значит, он говорил, что советский интернат – это плохо?

– Он не говорил «советский». Он просто говорил – интернат. В Кумбеле наш интернат. Это я говорю «плохо».

– Ну, это не важно. Кумбель в Советском Союзе.

– Как не важно? – вышел из себя Едигей, чувствуя, как тот запутывает его. – Зачем приписывать то, чего человек не говорил? Я тоже так думаю. Жил бы я в другом месте, а не на разъезде, ни за что не послал бы своих детей ни в какой интернат. Вот так, и я так думаю. Что ж, выходит?..

– Думай, думай! – проговорил кречетоглазый, приостанавливая разговор. И, помолчав, продолжал: – Та-ак, стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?

– Ничего он не против! – не утерпел Едигей. – Зачем напраслину возводить! Как так можно?

– Не надо, не надо, прекрати, – отмахнулся кречетоглазый, не считая нужным вдаваться в объяснения. – А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием «Птица Доненбай»? Куттыбаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа и с твоих отчасти. Так ли это?

– Так точно, – оживился Едигей. – Это тут, в сарозеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище найманское стоит, когда-то оно было найманское, а теперь общее, называется Ана-Бейит, там была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим, манкуртом...

– Ну, достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей, – сказал кречетоглазый и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение: – Птица Доненбай, хм, ничего лучшего и не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Доненбай, хм. Думает, не разберемся... А этот тут писаниной занялся втихомолку, для детишек, видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек? – Кречетоглазый поднес к лицу Едигея еще одну тетрадь в клеенчатой обложке.

– А что это? – не понял Едигей.

– Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлена: «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану».

– Ну верно, это тоже легенда, – начал Едигей. – Это было. Старые люди знают эту историю...

– Не беспокойся, я тоже знаю, – перебил его кречетоглазый. – Слышал краем уха. Старый, выживший из ума старик влюбляется в молодую, девятнадцатилетнюю девушку. Что ж тут

хорошего? Этот Куттыбаев не только враждебный тип, он еще и морально извращенный человек, выходит. Ишь как старался, подробно записал весь этот маразм.

Едигей покраснел. Не от стыда. Гневом переполнилась его душа, ибо большей несправедливости по отношению к Абуталипу быть не могло. И он сказал, едва сдерживая себя:

– Ты вот что, не знаю, какой ты там начальник, но в этом ты его не задевай. Дай Бог каждому быть таким отцом и мужем, и любой здесь тебе скажет, какой он есть человек. Нас тут по пальцам перечесть, и мы все знаем друг друга.

– Ладно, ладно, успокойся, – ответил кречетоглазый. – Затуманил он вам тут мозги. Враг всегда прикидывается. А мы его разоблачим. Все, можешь быть свободным.

Едигей встал. Замялся, надевая шапку.

– Так что, как будет с ним? Как теперь? Только из-за этих писаний сажать человека, что ли?

Кречетоглазый резко привстал из-за стола.

– Слушай, я тебе еще раз повторяю: это не твое дело! За что преследовать врага, как с ним обходиться, к какому наказанию привлечь его – это мы знаем! Пусть твоя голова не болит. Знай свою дорожку. Иди!

В тот же день поздно вечером на разъезде Боранлы-Буранный еще раз остановился пассажирский поезд. Только теперь поезд шел в обратную сторону. И тоже стоял недолго. Минуты три.

Ожидая впотымах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирали с собой Абуталипа Куттыбаева, в стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли боранлинцы – Зарипа с детишками, Едигей и Укубала да начальник разъезда Абилов, все сновавший взад-вперед и суетившийся мелочно и ничтожно, ибо поезд опаздывал против расписания на полчаса. Но он-то тут был при чем? Стоял бы уж себе спокойно. А Казангап, тоже прошедший через допрос по поводу злополучных легенд, обнаруженных у Абуталипа, находился в тот час на стрелке. Это ему предстояло собственноручно направить поезд на тот путь, по которому должны были увезти Абуталипа далеко от сарозеков. Букей оставалась дома с едигеевскими девочками.

Те трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно молчали. Боранлинцы, расстающиеся с ним, тоже молчали.

Ветер гнал поземку с шорохом и едва различимым посвистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стылая мгла в непроглядных сарозекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна блеклым, одиноким пятном. Мороз жег щеки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.